

ЛЕВИАФАН КЕЙН

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ПОДЗЕМНИК

ВЫХОД НАВЕРХ

— ТОМ 1 —

Левиафан Кейн

**Севастопольский
подземник: Выход наверх**

«Автор»

2026

Кейн Л.

Севастопольский подземник: Выход наверх / Л. Кейн — «Автор»,
2026

Горный инженер Михаил Горин погибает в шахте и приходит в себя в теле молодого сапёрного офицера. На дворе 1855 год. Севастополь в осаде, а его новое дело начинается под землёй — там, где обвал может отрезать единственную дорогу к свету. Опыт прежней жизни при нём. Современных приборов, машин и привычной службы спасения здесь нет. Есть дерево, ручной инструмент и люди, чьё доверие придётся заработать работой. Горин знает цену единственному выходу и собирается подготовить второй. Военная история о попаданце, инженерном деле и своей команде в осаждённом городе.

© Кейн Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	13
Глава 3	19
Глава 4	26
Глава 5	31
Глава 6	37
Глава 7	42
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Левиафан Кейн

Севастопольский подземник: Выход наверх

Глава 1

Первым вернулся запах. Шахтой здесь не пахло: шахту я знал двадцать лет — мокрое железо, масло, угольная пыль на языке. Тут была сырая глина, гарь и кислая пороховая вонь, какая стоит во дворе после новогодних петард.

Потом вернулся голос:

— Ваше благородие. Ваше благородие, слышите?

Я лежал на боку, щекой в мёрзлой грязи. Последним, что я помнил, была клеть подъёмника. Мы поднимались после смены, я стоял у решётки и прикидывал, что Антону позвоню уже из машины, пока прогревается мотор. Клеть дёрнуло, потом ещё раз, сильнее, и высоко над нами в стволе взвизгнуло железо. Дальше память обрывалась.

Теперь были грязь, холод и какое-то благородие.

Я приподнялся на локте, и правое плечо ответило так, что в глазах потемнело. Над головой на колу висел фонарь. В его жёлтом круге я разглядел стенку из земляных мешков, утоптанную площадку, низкую чёрную дыру в обшитой досками раме, а справа от неё — горб земли, из которого торчали расщеплённые брёвна. Была ночь. Неба не было, только чернота без звёзд, и где-то за стенкой тяжело и редко бухало.

Рядом стоял на коленях человек с редкой светлой бородкой. Руки он держал перед собой ладонями вверх. Ладони были чёрные, мокрые, в лохмотьях кожи.

— Ваше благородие, — повторил он, — Овчинников там, Гаврила. Отзывается.

Я оглянулся посмотреть, кого он зовёт. За мной никого не было.

Тогда я увидел свой рукав. Толстое серое сукно в глине, у обшлага незнакомая медная пуговица. Из рукава торчала кисть — узкая, молодая, с обкусанным ногтем на большом пальце. Через мою руку двадцать лет шёл белый шрам от троса, от костяшек к запястью. На этой руке шрама не было.

Я сжал кулак. Рука послушалась.

«Бред, — почти с облегчением подумал я. — Лежу где-нибудь в реанимации, а голова крутит кино». Говорят, бред бывает очень подробным. Только вряд ли в бреду так мёрзнут колени.

— Где он? — спросил я. Голос тоже оказался чужой, выше моего.

— Там. — Светлобородый мотнул головой на горб. — В укрытии. В дальнем углу сидел, черенок насаживал. Как ухнуло — меня в дверь выкинуло, а его там и закрыло.

Из-под брёвен глухо, будто из погреба, донеслось:

— Семён... Сёма, ты тут?

Бред меня больше не занимал. Под брёвнами сидел живой человек и звал. Чья рука, чьё благородие, куда делась клеть — всё могло подождать. Я отложил это до конца смены, как всю жизнь откладывал разговоры, от которых всё равно не уйдёшь.

— Ты Семён?

— Я, ваше благородие. Анисимов.

Я встал. Ноги держали. Правую руку пришлось прижать к боку, и от каждого шага её дёргало до локтя.

На площадке было тесно. У развороченной двери укрытия толклись люди. Двое несли от стенки длинную жердь — подваживать, третий светил им вторым фонарём. С просевшего наката над дверью сама собой сыпалась земля, тонкой струйкой.

Я взял у того, кто светил, фонарь левой рукой и подошёл. Укрытие углом выдавалось на площадку: дверь смотрела на нас, левый бок, заложённый снаружи мешками, тянулся вдоль площадки к галерее. Такое я видел много раз, только в других стенах. Дверную стойку перебило. Перекладина над дверью одним концом съехала вниз и легла наискось, а другим ещё упиралась в просевший накат. Земля над дверью держалась теперь на ней одной. Подведёшь под неё жердь, поддашь — передняя половина крыши сядет внутрь, а за ней, глядишь, поедут и соседние брёвна.

Жердь уже поднесли к двери. Матрос с чёрными бакенбардами, в старом платке на шее, перехватил её поудобнее.

— Положить жердь! — Крик вышел тонкий, не мой, но он замер. — Перекладину не трогать. На ней вся крыша.

Он поглядел на накат, потом на меня и опустил жердь на землю.

— Понял.

И отступил к стенке, не дожидаясь второго слова.

— В каком углу он сидел? — спросил я Анисимова.

Тот ответил не сразу. Прошёл вдоль мешков, приложил к ним ухо, постучал локтем, ещё послушал. Только потом сказал:

— Тут. За этой стенкой, у самого низу.

Я опустил на колено.

— Гаврила! Слышишь меня? Постучи, где ты.

Изнутри у самой земли, в двух ладонях от моего колена, глухо стукнуло. Потом ещё.

Мешки лежали плотно, не поехали, не просели. Накат над задней половиной стоял на месте. Разрыв пришёлся в дверь, и всё, что сломалось, сломалось спереди. Сзади осталась целая коробка, а в ней человек.

Со стороны входа в галерею вышел коренастый унтер с рыжеватой бородой, в которой блестела седина. Нос короткий, широкий, глаза светлые и злые от бессонницы. «Платонов», — сказала мне чужая память, ясно, как табличка на двери. Больше она ничего не сказала.

— Ваше благородие, живы. За Кузьмой послал, с инструментом идёт. — Он посмотрел на дверь, на меня, на мешки у моего колена. — Что делать будем?

— Стенку открывать. Здесь, у задней стойки. Он за ней.

— Через мешки?

— Мешки долой, потом нижние доски между двумя кольями. Колья не трогаем: на них брус, на бресе накат. Под брус поставим стойку, для верности. Дыру делаем у самой земли, рядом с ним.

Платонов присел на корточки, тронул мешок. Большой палец левой руки у него не гнулся и торчал в сторону, как у человека в рукавице.

— Сделать сделаем. А дальше? Людей туда сажать?

— Туда лезу я. Носу ему увязать. Остальные снаружи.

— Вы, ваше благородие?

— Я пролезу. Ты не пролезешь.

Он оглядел меня, будто впервые прикидывал ширину моих плеч, и спорить не стал.

— А назад как? Его тащить придётся. Нога, говорит, у него.

— Назад этим же местом. Головой вперёд, сюда, на площадку. Ни поворотов, ни дверей.

Платонов помолчал, глядя на дыру, которой ещё не было.

— Тут-то его кто примет? Сам он не пойдёт. А до фельдшера путь неблизкий, ваше благородие. А людей у меня тут не рота.

— Дай двоих, кто носить умеет.

— Белов. Теснов.

Подожли двое: давешний, с бакенбардами, и широкий, низколобый, в шерстяном шарфе, замотанном до ушей. Низколобый показал рукой на мешки и поднял брови.

— Ты кто из двоих?

— Белов.

— Да, здесь, Белов. Со мной на стенку, когда придёт Кузьма. Мешки таскать будешь. Теснов — у дыры, принимаешь его за плечи. Носилки — сюда, к стенке, сейчас. Двоих ещё дай, сменить в дороге. И кого-нибудь вперёд, к фельдшеру, чтобы ждали и знали: нога.

Платонов дослушал и поднялся.

— Мохов, Зуев — к носилкам, смена будете. Чуркин! К Кленову, бегом. Скажи — несём, нога. — Тонкая фигура сорвалась с места и пропала в проходе; лица я не разглядел. — Остальные — за стенку, к ходу. Тут не толпиться.

Площадка опустела быстро. Возле развороченной двери никого не осталось. Анисимова я поставил сбоку от двери, откуда ему были видны перекладина и накат над ней.

— Смотришь на крышу над дверью. Поползёт — кричи.

Он кивнул и прижал больные руки к груди.

Кузьма пришёл с двумя людьми со двора, которые тащили жердь и пару досок. Из-под шапки лезли чёрные кудри, нижняя челюсть была широкая, тяжёлая. На правой кисти, сжимавшей топор, белел рубчик. Он выслушал меня, поглядел на стенку, на брус, на дверь.

— Дыру сделаю. Только доски назад целыми не обещаю.

— Назад они не понадобятся.

К двери больше никто не подходил.

Кузьма ставил стойку молча. Отмерил жердь по брусу на глаз, отпилил, загнал её под брус обухом в три коротких удара, послушал, не сыплется ли сверху, и ещё раз ударил. Белов в это время таскал мешки и укладывал их у стенки площадки, аккуратно, рядами, будто строил вторую стенку. Работал он без слов, только показывал рукой, куда класть следующий.

Под мешками открылись доски — горбыль, почерневший от сырости. Кузьма вогнал лезвие топора в щель у нижней и потянул. Доска треснула вдоль.

Я смотрел вверх. Накат стоял. С бруса упала горсть сухой земли.

— Сыплется над дверью? — спросил я, не оборачиваясь.

— Стоит, ваше благородие, — отозвался Анисимов.

Вторую доску Кузьма вынул целой. Из дыры пахнуло сырой землёй и тёплым человеческим дыханием. Дыра вышла узкая, в локоть шириной, у самой земли. Я посмотрел на Кузьму, Кузьма — на третью доску.

— Третью брать — стойку переставлять, — сказал он.

— Не надо. Хватит.

Я лёг на живот, сунул в дыру фонарь, потом голову и левое плечо. Правое пролезло следом и задело край доски. От боли я на миг ослеп и полежал, пережидая, лицом в холодной земле. Потом подтянулся на левой руке и коленях и оказался внутри.

Под накатом можно было сидеть, согнувшись. Овчинников сидел в углу, привалившись к стенке, в шаге от дыры. Брови тёмные, сросшиеся, лицо в земле. Правую ногу он вытянул перед собой. Штанина ниже колена была порвана и мокро блестела, ступня смотрела не туда, куда смотрят ступни. Рядом валялся конец бревна, сорвавшегося с наката, и новый черенок без лопаты.

— Гаврила.

Он сощурился на фонарь.

— Ваше благородие? А Семён где?

— Вышел Семён. Руки ободрал, сидит снаружи.

Он закрыл глаза и выдохнул, словно ему самому полегчало.

Мне не нужно было знать, сломана кость или нет. Нужно было, чтобы нога не болталась, когда его потянут. Я положил черенок вдоль голени, снаружи, и стал вязать: сперва его ремнём под коленом, потом своим, снятым с шинели, у щиколотки. Одной левой рукой и зубами вышло медленно. Овчинников сначала молчал, потом зашипел сквозь зубы, и между передними зубами у него показалась щель.

— Терпи. Сейчас тебя вытянут за плечи. Ногу держу я. Кричать можно, дёргаться нельзя.

— Кисет, — сказал он. — Ваше благородие, кисет там. Жёнин.

Кисет лежал у его бедра, в земле — синий, с красной ниткой по краю. Я сунул его ему в руку. Он затолкал кисет за пазуху и придержал там ладонью.

— А вы следом? Не оставите тут?

— Ты первый. Я за тобой. Пока ты не снаружи, я здесь.

Он поглядел на меня как-то странно, но спрашивать больше не стал.

Я развернул его головой к дыре. Возился долго: он был тяжелее меня, а правая рука годилась только на то, чтобы ею упираться. Наконец голова и плечи оказались у самой щели. Снаружи в неё уже тянулись руки.

— Платонов, — сказал я в дыру. — Тянуть по моему слову. Без рывка.

— Белов, Теснов, — сказал снаружи Платонов. — Взяли под мышки. Ждать.

Я обхватил связанную ногу левой рукой и прижал её к себе, чтобы черенок не зацепился за край доски.

— Тяни.

Овчинников закричал и поехал в дыру. Я повёл ногу следом, как ведут бревно через узкое место, — подправлял, не давал черенку упереться.

— Сыплется над дверью! — крикнул Анисимов.

Я поднял голову. Над нами брус стоял на Кузьминой стойке, и земля с него не шла. Сыпалось спереди, над перекладиной, там, где никого не было.

— Тяни дальше!

Плечи, пояс, колени. Последней в дыру ушла ступня, и в укрытии стало пусто и тихо. Я посидел, слушая, как снаружи стонет Овчинников и кто-то говорит ему: «Тихо, тихо, браток, всё уже». Потом взял фонарь и полез следом.

На площадке уже светлело. Овчинникова положили на носилки. Теснов и Белов подняли их, Мохов и Зуев встали рядом, чтобы подхватить в дороге. Платонов взмахом руки отправил их в проход. Носилки качнулись и пошли. Овчинников держал ладонь у груди, на кисете.

Я выпрямился, насколько позволило плечо.

— Укрытие закрыть. Дыру заложить досками. К двери никого.

— Слушаю, ваше благородие, — сказал Платонов и пошёл распоряжаться. На этот раз он не спросил, кто и как.

Я двинулся за носилками. Куда их несли, я не знал. Знали они.

Путь шёл ломаным ходом между земляными стенками, потом по улице, где у домов громзились мешки с землёй, а крыши кое-где были разбиты. По дороге Мохов с Зуевым дважды подменяли Белова с Тесновым. Я шёл позади и думал только о том, как бы не споткнуться: плечо отзывалось на каждую кочку.

Приёмный двор оказался обыкновенным двором с длинным каменным домом. У передней двери нас ждали. Человек в фартуке, с седыми висками и такими крупными ладонями, что ими, казалось, можно было взять человека целиком, оглядел носилки, потом меня. На поясе у него висел матерчатый чехол, из которого торчали головки игл. Кленов, понял я.

— Сюда его. На стол.

Теснов и Белов внесли Овчинникова в комнату, переложили на стол и встали у стены, переводя дух. Я вошёл за ними.

— Ваше благородие, что с ним?

— Засыпало в укрытии у нижнего входа, перед рассветом. Разрыв у двери. Сидел в дальнем углу, на него упало бревно с наката. Правая нога, ниже колена. Мы привязали её к черенку, чтобы не болталась. Вынули через боковую стенку, головой вперёд.

— Когда упало?

— Час назад, может, больше. Пить не давали.

Кленов кивнул и уже не слушал меня. Он разрезал штанину, ощупал голень своими большими пальцами, осторожно, будто боялся раздавить. Овчинников охнул и вцепился в край стола.

— Сломана, — сказал Кленов. — Отправлю дальше, к доктору. В наряд он не вернётся. Под землю тем более.

Я хотел спросить, когда его можно будет навестить, что ему понадобится, но Кленов уже обернулся к носильщикам:

— Спасибо, братцы. Ступайте, освободите проход — тут сейчас других понесут.

Они вышли. Овчинников повернул ко мне голову.

— Ваше благородие... Вы узнаете, куда меня?

— Узнаю.

Он улыбнулся щелью в зубах и закрыл глаза.

— Теперь вы, — сказал Кленов. — Садитесь.

— Мне на участок надо. Там люди.

— Люди полчаса без вас проживут. Садитесь на лавку и снимайте шинель. Вон туда, к окну, у двери не стойте.

Я сел. Снять шинель одной рукой оказалось задачей. Кленов помог, стянул рукав с больного плеча, и я увидел на сукне погон с двумя маленькими звёздочками. Подпоручик, значит. Лейтенант, по-нашему, если я правильно помнил. Карьера сделана за одну ночь.

Его пальцы прошли по ключице, по плечу, нажали в одном месте, в другом. Я зашипел.

— Кость целая. Ушиб, да хороший. Ссадины промою. Тяжёлого не поднимать. Носилки не брать. На руку не опираться. Будет хуже — придёте.

— Понял.

— Повезло вам, Павел Андреевич, — сказал он, протирая мне скулу чем-то жгучим.

Павел Андреевич. Я запомнил это, словно номер чужой квартиры, где теперь придётся жить. Повезло — это как посмотреть. Тому, кто носил эту шинель до утра, вряд ли повезло.

— Ещё побитые есть? — спросил Кленов.

— Анисимов. Ладони ободрал, когда выбирался.

— Пришлите ко мне, перевяжу. Инструмента ему пока не давать.

Я вышел на крыльцо. У ворот сидел на корточках один из сменщиков, с круглым лицом, и отдыхал. Остальные уже ушли.

— Мохов?

— Я, ваше благородие.

— Ноги держат?

Он подумал.

— Держат, ваше благородие. Обе.

— Тогда слушай. Скажешь Платонову: Анисимова — сюда, к фельдшеру. После перевязки пусть сидит у входа, при фонаре. Кто пошёл, кто вышел, что видел — это его дело. Руками ничего не брать.

— Слушаю, ваше благородие.

— И пойдём вместе. Мне тоже на двор.

Он поднялся и пошёл впереди. Дорогу на двор я не знал и признаваться в этом Мохову не собирался.

Обратно шли уже при свете. Небо стало мутным, низким, сыпало мелким снегом пополам с дождём. С пригорка между домами мне открылась на миг линия укреплений: земляные валы, туры, из-за которых торчали стволы, дымки над ними. Глухо бухнуло, и следом — ещё. Ниже, между крышами, блеснула вода. Я посмотрел и пошёл дальше. Спрашивать Мохова, что это за город, было бы последним делом.

Рабочий двор оказался просторным, огороженным каменной стеной, с тележными воротами, навесом для инструмента и длинной низкой пристройкой. Под навесом сушились мешки. У пристройки на чурбаке сидел Платонов и чистил щепкой сапог.

Он поднялся, когда я вошёл.

— Заложили, ваше благородие. Анисимова отправлю.

— Хорошо.

Я ещё не решил, что делать дальше, когда в ворота влетел парень лет девятнадцати — светлые брови, левое ухо оттопырено, веснушки на переносице, — с бумагой в руке.

— Ваше благородие! Живы! — Он затормозил передо мной, улыбаясь во весь рот, будто я ему что-то подарил. — А мне говорили, вас там засыпало вместе с Гаврилой. Я Кленову-то сказал, а потом к господину поручику, а он и говорит: неси, говорит, ему в руки, и сам, говорит, после будет. Вот.

Он протянул мне бумагу, сложенную вчетверо. Я взял её левой рукой.

— Спасибо. Ты чей?

Улыбка у него сползла.

— Как — чей? Ваш, ваше благородие.

Платонов перестал чистить сапог. Взгляд его перешёл с парня на меня, и рыжие брови сдвинулись.

— Чуркин, — сказал он, — поди к навесу, подожди.

Парень ушёл, оглядываясь. Платонов подошёл ближе и заговорил вполголоса:

— Ваше благородие, дозволейте спросить.

— Спрашивай.

— Вы его вчера за свечами посылали. И третьего дня с бумагами. А нынче не признали.

— Не признал.

Он ждал. Я понимал, чего он ждёт: человек, которому сегодня отдавать людей под землю, должен быть в своём уме.

— Меня у входа о стенку приложило, Платонов. Фельдшер говорит, ушиб. А в голове с утра лица есть, а к ним ничего не пришито. Твоё вот пришилось. Его — нет.

— Бывает, — подумав, сказал Платонов. — После разрыва бывает. У меня земляк после бомбы неделю жену по имени не звал. Потом ничего, отошло.

— Вот и у меня отойдёт.

— И говорите вы, ваше благородие, иначе.

— Иначе — это как?

Он помолчал, выбирая слова.

— Раньше вы мне приказ отдавали, а людей я сам ставил. А нынче вы людей сами поставили. Каждого.

— Плохо поставил?

— Хорошо поставил. — Он помедлил. — Только непривычно.

— Привыкай. А там, где я человека не помню, ты мне называй. Без стеснения. Мне некогда стесняться, и тебе некогда.

Платонов ещё раз внимательно оглядел меня и кивнул. Больше вопросов у него не было, и слава богу: на вопрос, кто я такой, у меня самого ответа пока не было.

— Чуркин! — позвал я.

Парень подошёл.

— Как зовут?

— Егор, ваше благородие. — Он помедлил. — Чуркин Егор, Гаврилов сын.

— Егор. Меня утром оглушило, лица путаю. Ты от поручика бумагу принёс. Ещё что поручик велел?

— Сказали, сами будут. — Он стал говорить медленнее, точнее. — Велели передать, чтобы про Гаврилу им всё как есть, и про вход тоже.

У него за ухом торчал огрызок карандаша, а из-за обшлага — сложенный клочок бумаги. Когда он поправлял шапку, клочок выпал. Я поднял. На клочке был нарисован часовой у ворот, в полный рост, очень похоже, только усы у него доходили до ушей.

— Это кто?

Егор покраснел до веснушек.

— Часовой у ворот, ваше благородие. Похож.

— У него усы вдвое меньше, — сказал Платонов.

— Так он их вперёд закручивает, — сказал Егор. — Видно же.

Я вернул ему клочок.

— Платонов, кто завтра утром со мной путь смотреть пойдёт? Весь, сколько осталось, от входа.

— Сам пойду, — сразу сказал Платонов. — И Чуркина возьмите. Глаз у него приметливый, сами видели.

Егор быстро взглянул на Платонова и выпрямился.

— Хорошо. Утром. — Я кивнул на огрызок у него за ухом. — Карандаш до вечера дашь?

Он выдернул карандаш и протянул мне, не раздумывая.

— Берите, ваше благородие. У меня ещё есть.

Моя комната была в конце пристройки, за тонкой дощатой перегородкой. Там стояли узкая койка, стол, табурет и сундучок. На гвозде висел ещё один мундир. На столе лежали бритвенный прибор, свечной огарок в подсвечнике и маленькое зеркальце в деревянной рамке.

Я сел на табурет и поднял зеркальце.

Из него на меня смотрел незнакомый парень. Тёмные волосы, короткие, свалявшиеся от грязи. Лицо узкое, бледное, с полосой засохшей крови на скуле, где фельдшер промывал. Под левым глазом — маленькая родинка. Лет двадцать пять, не больше. Я поднял бровь, и он поднял. Я опустил зеркальце.

«Помолодел вдвое, — подумал я. — В той жизни за такое отдадут большие деньги».

Шутка вышла плохая, но от неё стало немного легче.

В сундучке лежало бельё, книга по-французски с закладкой, табакерка без табака и связка бумаг, перевязанная бечёвкой. Я развязал. Сверху лежало письмо, старое, сложенное в несколько раз, с надписью на обороте: «Павлу Андреевичу Лунёву». Буквы были с завитками, с твёрдыми знаками на конце слов, но я читал их легко, будто сам так писал всю жизнь. Внутри было что-то о здоровье, о погоде, о неудачно проданной лошади. Подпись мне ничего не сказала.

Павел Андреевич Лунёв. Так меня назвал Кленов, так было написано на письме.

Тогда я развернул бумагу, которую принёс Егор.

Почерк писарский, ровный. «Подпоручику Лунёву» — сверху. Дальше о работах при четвёртом бастионе, о людях, которые за мной оставлены, о том, что и когда донести. Внизу подпись — «поручик Меркушев» — и число: «13 января 1855 года».

Я прочитал число ещё раз.

Тысяча восемьсот пятьдесят пятый. Старого стиля, разумеется.

Четвёртый бастион. Я вышел из комнаты. Платонов стоял у навеса и что-то объяснял Кузьме, тыча пальцем в доску.

— Платонов, четвёртый бастион — это где мы утром были?

Он посмотрел на меня осторожно, но ответил просто:

— Он самый, ваше благородие. Наш вход при нём. А что?

— Ничего. Хотел убедиться, что не путаю.

Я вернулся в комнату и сел.

Четвёртый бастион. Январь пятьдесят пятого года. Валы с турами, бомбы, вода между крышами. Толстого я читал в школе, через страницу, а потом ещё раз, взрослым, уже не через страницу. Севастополь. Осада. Чем она кончилась, я помнил, и вспоминать сейчас не хотел.

Меркушев пришёл в то же утро. Худой, с короткой светлой бородкой, в шинели, на которой было больше грязи, чем сукна. Он выслушал меня стоя, посреди двора, держа в руке маленькую записную книжку и прикрывая её от снега рукавом.

— Живой?

— Живой, господин поручик. У Кленова. Голень сломана, фельдшер отправляет его дальше, к доктору. Под землю он не вернётся.

— Как вынули?

— Через боковую стенку укрытия. Перекладину у двери не трогали, на ней накат.

— Сами?

— Плечо. Тяжёлого не поднимать.

Он что-то записал, быстро, мелко.

— Просьбы?

— Пока нет. Завтра утром осматривать путь от входа. После осмотра будут.

— Осмотрите. — Меркушев убрал книжку за пазуху. — Сами осмотрите, прежде чем кого туда посылать.

— Понял.

Он кивнул и ушёл так же быстро, как пришёл.

Я вернулся в комнату, сел на койку и посидел, глядя на огарок.

Михаил Сергеевич Горин, сорок три года, начальник участка. Погиб в клети подъёмника после смены. Я проговорил это про себя, по-рапортному, и ничего не почувствовал, кроме холода в коленях. Потом почувствовал.

Антону девятнадцать. Он учится в техникуме и всё время сердится, что я решаю за него. Куда поступать, где жить, в какую сторону поворачивать. Последнее, что я решил без него, было это. Ирина скажет ему правильно, она умеет. Она скажет, что отец любил его, что отец вечно торопился, что так вышло. Всё это будет правда. А позвонить я не успел.

Я сидел долго. Плакать не стал: не получалось, да и стенка была тонкая. За ней Кузьма кому-то объяснял, почему лучшая доска во дворе должна достаться ему.

Вернуться туда, где осталась клеть, способа не было. Я не знал такого способа, никто его не знал, и если бы я стал его искать, то нашёл бы только сумасшедший дом. А здесь, за стенкой, были люди, которые утром вытащили своего живым и которым завтра опять лезть под землю.

Я отложил Антона туда же, куда утром отложил всё остальное. Не насовсем. До вечера, до ночи, до той минуты, когда никого не надо будет вести.

Я достал Егоров карандаш, взял чистый лист и вывел сверху: «Осмотрь». Рука сама поставила в конце твёрдый знак, которого я в жизни не писал. Зачёркивать я его не стал.

Завтра утром надо было пройти от входа весь путь, какой остался, и понять, кого по нему можно посылать.

Глава 2

Утром у нижнего входа горел тот же фонарь, только теперь под ним сидел Анисимов. Ладони у него были замотаны плотным до самых пальцев, и он держал их на коленях бережно, словно чужое. Увидев меня, он хотел встать.

— Сиди. Кто-нибудь заходил?

— Никого, ваше благородие. Платонов не велел до вас.

Заколоченная дверь укрытия чернела справа. Доски на боковой дыре Кузьма прибил накрест, по-зимнему, и кто-то воткнул рядом в землю колышек, чтобы не подходили. Вчерашнее утро стояло здесь в каждой мелочи, а прошли всего сутки.

Плечо за ночь не прошло. Спал я на левом боку, просыпался от каждого поворота и под утро, лёжа в темноте, всё повторял про себя: Павел Андреевич Лунёв, подпоручик, четырнадцатое января. Звучало как чужой адрес на конверте.

У входа ждали люди: Белов в своём шарфе, Теснов и узколицый Зуев, который то и дело трогал узел на своём мешке, будто узел мог развязаться сам. Платонов вышел из-за стенки с фонарём, Егор — за ним, прижимая к груди дощечку, на которую был наколот лист бумаги. За ухом у него опять торчал огрызок.

Я протянул ему вчерашний карандаш.

— Твой. Спасибо.

— У меня этот есть, ваше благородие.

— Пусть будет два. Сегодня понадобятся.

Платонов поглядел на дощечку, на меня и ничего не сказал. Вчера вечером, когда я велел Егору взять бумагу и записывать всё, что увидим, он тоже промолчал, только почесал бороду своим негнувшимся пальцем. Я понимал, о чём он молчит: полдня трёх человек на ползание, а с бумаги под землёй толку как с прошлогоднего снега.

— Пошли, — сказал я. — Платонов первый. Я за ним. Егор последний.

Ход начинался низко. Выпрямиться в нём было нельзя: доски обшивки висели над затылком, стены сжимали плечи. Платонов полз на коленях и локтях, держа фонарь перед собой, и его спина загораживала половину света. Я полз следом, опираясь на левый локоть. Правая рука висела, и при каждом движении плечо напоминало о себе, тупо и настойчиво, будто кто-то стучал изнутри.

Пахло мокрой глиной и свечным салом. Рамы стояли часто, обшивка между ними была тёмная, влажная, местами с белыми пятнами плесени. Я трогал каждую раму, мимо которой полз: стучал костяшками, смотрел на стыки. Дерево отвечало глухо и плотно. Сверху не капало. Пламя в фонаре стояло спокойно.

Первый прямой отрезок кончился нишей, где ход поворачивал. В нише можно было сесть, согнувшись, и развернуться. Над ней в доску был вбит железный крюк для фонаря, а сама доска закоптилась до черноты. В нише валялись кирки и ведро, брошенные в ту ночь, когда ухнуло. В правой стенке ниши темнело устье, заложенное поперёк двумя жердями. Чуть ближе к выходу, сбоку, чернело ещё одно отверстие — ниже и уже основного хода.

— Ближний рукав, — сказал Платонов про низкое отверстие. — А за жердями — сухой. Его когда-то от ниши к развилке вели. Им не ходят.

— Ближний посмотрим на обратном пути. Сухой — не сегодня.

За поворотом ход шёл дальше, такой же тесный. Мы ползли долго. Я не считал рамы, но к концу колени горели, а под ногтями набилась глина. Ближе к концу, по левую руку, открылось ещё одно отверстие. В него глядела сломанная стойка, расщеплённая наискось, и излом белел свежо, будто её переломили вчера.

— Поперечина, — сказал Платонов. — К рукаву ведёт. Туда сейчас не лезят.

Ход упёрся в развилку. Отсюда расходились три чёрных рта: справа — пошире, слева — два узких и низких, почти рядом. Платонов остановился и поставил фонарь.

— Справа — тот же сухой рукав, другим концом, — сказал он. — Слева — слуховые. Старое и боковое. — Он помолчал. — Туда сегодня?

— Нет. Сперва обратная дорога.

Он кивнул, как мне показалось, с облегчением.

Поперечину мы осмотрели с этого конца, сколько было видно при свете. Рамы в ней сели, верхняк одной провис дугой, под ним лежала куча сырой земли. Пролезть было можно, если ползти на животе и не задевать. Только всё это держалось уже не на дереве, а на привычке земли стоять на месте. Такие места я знал: они стоят месяц, стоят год, а потом оседают от шагов в соседней выработке.

— Сюда никого, — сказал я. — Пока не поменяем дерево.

— Её и не берут, ваше благородие.

— Новенький возьмёт. В темноте она похожа на ход.

Платонов промолчал.

Назад поползли в обратном порядке: Егор теперь был первым, Платонов замыкал, и свет оказался у меня за спиной. Ближний рукав осмотрели, вернувшись к нише. Он был ниже основного хода, туда приходилось ползти почти на животе. В дальнем его конце, там, где он упирался в поперечину, сверху сочилась вода, и одна рама треснула вдоль. Егор тащил за собой дощечку и на каждом привале что-то черкал углём, держа лист на колене.

У ниши я сел и прислонился к стенке. Плечо гудело. Платонов уселся напротив, поджав ноги, фонарь повесил на крюк.

— Платонов. Вот пришлют тебе завтра нового человека, который тут ни разу не был. Как он отсюда выйдет?

— За знающим.

— А если знающий впереди, с работой, а этому надо назад?

— Ему растолкуют. От развилки до ниши всё прямо, у ниши направо, в рукав не лезть. — Он пожал плечами. — Кто растолковал, тот и отвечает.

— А если он у ниши забудет, направо или налево?

— Тогда сидит и ждёт. Сидит, пока кто знающий не подползёт.

— А за ним?

— А за ним тоже ждут. — Платонов помолчал. — Тут ведь, ваше благородие, двое не разойдутся. Полезет не туда — всем, кто сзади, пятиться. Вот и заведено: не знаешь — сиди. И люди у нас меняются. Сегодня мои, завтра пришлют из другой роты, послезавтра матросов. Каждому не нарисуешь.

Вызова в его голосе не было. Привычка была толковая. Она держалась на том, что знающий всегда рядом. Только вчера знающий лежал без памяти у входа, а другой сидел в укрытии со сломанной ногой.

— Каждому не нарисуешь, — согласился я. — А одну дощечку на всех — можно.

— Дощечку?

— Вот эту. — Я кивнул на Егора. — Не весь ход, а то, что новенький увидит сам, когда поползёт назад. Вот хоть этот крюк. Повесим у входа: перед тем как лезть, каждый посмотрит. И с собой брать.

Платонов посмотрел на крюк, потом на Егора, который замер с углём в руке.

— А толк?

— Проверим. Пусть по ней выйдет человек, который со мной сегодня не ходил. Выйдет сам — оставим. Не выйдет — я тебе полдня должен.

Платонов подумал. Видно было, как он прикидывает в уме, кого не жалко отдать на эти полдня.

— Белов, — сказал он наконец. — Он тут бывал, только всё за другими. Сам не водил.
— Годится.

— Я его до развилки доведу. Обратно пусть сам. А я за ним, и слова не скажу. — Он почесал бороду. — Только в поперечину полезет — за ноги вытащу. Тут уж не обессудьте.

— Вытаскивай.

Мы выбрались наружу. Свет у выхода показался ослепительным, хотя небо было всё то же, мутное, с мелким снегом. Платонов сразу ушёл за стенку к своим, на ходу вытирая колени.

Во дворе было сыро. Кузьма с двумя людьми таскал под навес доски, Мохов разбирал у ворот какой-то мешок. Я сел на чурбак у пристройки, Егор встал передо мной, держа дощечку обеими руками.

— Можно показать, ваше благородие?

— Показывай.

Он положил дощечку мне на колени. За обход он успел многое. Ход был проведён двумя аккуратными линиями от входа до развилки, у входа нарисована дверца с косяками. Ниша — полукругом. Рукав — пунктиром. Поперечина — тоже. От ниши к развилке, в обход хода, тянулась ещё одна линия — сухой рукав, а за развилкой слуховые ветки уходили далеко вверх, каждая с маленькой стрелкой на конце. Сверху, с завитушками, было выведено: «Нижний ход».

— Красиво, — сказал я. — Теперь скажи: вот лежит человек у ниши, носом в глину, свеча у него в руке. Откуда он узнает, где сворачивать?

— Так вот же. — Егор ткнул углём в полукруг. — Ниша. Тут поворот.

— Он сверху на ход не смотрит. Он внутри ползёт. Нишу он увидит, а что направо, что налево? Он ведь назад ползёт, у него право и лево поменялись.

Егор открыл рот и закрыл.

— Что он видит у ниши? Ты сам там сидел.

— Крюк, — медленно сказал Егор. — Крюк вбит. И доска над нишей вся чёрная, копчёная. — Он заговорил быстрее, но уже не сбиваясь. — А в нише сухой рукав жердями заложен. А ближний ниже хода, туда пригнуться надо, и стойка у него справа кривая. А у поперечины излом белый, его издали видеть, когда свеча с той стороны.

— Вот это и рисуй. Не ход сверху, а что он увидит. Крюк, копоть, излом. И с той стороны, откуда он ползёт.

— От развилки?

— От развилки к выходу. Стрелки — к выходу.

Он уставился в лист. Потом провёл пальцем по линии сухого рукава и дальше, по слуховым веткам.

— А это оставить?

— Ты там был?

— Нет, ваше благородие. — Уши у него покраснели, особенно левое. — Платонов сказал, что сухой до развилки идёт. А слуховые я так, на глаз.

— Белов по твоему рисунку пойдёт. Увидит у ниши дорогу в обход — полезет по ней. Что там, мы с тобой не знаем. Тут решай сам.

— Уберу, — сказал Егор. — Где устье видел, там оставляю. С крестом, и дальше ничего.

Он стёр ладонью половину листа, подумал и перевернул его чистой стороной. Пальцы у него были чёрные от угля.

— Ваше благородие, а подробнее надо? Где какая рама, шаги проставить? Я могу, я помню, где они.

Мне хотелось взять у него уголь и нарисовать самому: я знал, как это делается, видел такие схемы тысячу раз, и рука уже тянулась. Я сунул руку в карман шинели.

— Человек должен с этой дощечкой от развилки доползти до выхода и ни разу не останавливаться подумать. Что ему для этого нужно — рисуй. Что не нужно — мешает.

Егор сел на землю рядом с чурбаком, положил дощечку на колени и начал заново.

Я не смотрел ему через плечо. Смотрел, как Кузьма под навесом выбирает доску, переворачивает её, глядит вдоль на свет и откладывает, а следующую берёт. Как Мохов у ворот вытряхивает мешок. Из-под навеса пахло свежим деревом.

Через какое-то время Егор протянул мне дощечку. Подписи сверху больше не было. Ход шёл одной толстой линией, без дверцы и полукругов. Развилка была у верхнего края листа, от неё отходили три коротких обрубка с крестами, а вниз, к выходу, бежали стрелки. Поперечина — такой же обрубок с крестом, а у креста нарисована сломанная палка с белым концом: Егор оставил на этом месте чистую бумагу, обведя излом углём. У ниши — крюк и покрашенный чёрным прямоугольник. По обе стороны от линии — ещё два креста: сухой рукав в самой нише, ближний пониже. Дорога без креста оставалась одна. Внизу — выход, и над ним маленькое солнце в три луча.

— Солнце зачем? — спросил я.

Егор смутился.

— Чтоб видно было, что тут наверх.

— Пусть будет.

Он забрал дощечку и долго держал её перед собой, разглядывая, будто проверял, всё ли на месте.

Пока он рисовал, люди Платонова из рук в руки передали наружу инструмент, брошенный в нише в ту ночь. Ход должен был быть пустым. Платонов пришёл во двор с Беловым и забрал у Егора дощечку.

— По ней? — спросил Белов, глядя на лист и не беря его.

— По ней, — сказал Платонов. — Я тебя до развилки доведу. Оттуда ты первый. Я за тобой.

Белов перевёл взгляд с Платонова на меня, потом обратно. Лоб у него собрался морщинами.

— Я впереди?

— Ты.

— А ежели...

— А ежели — я за тобой, — повторил Платонов и сунул ему дощечку.

Белов взял её, осмотрел со всех сторон, словно искал, где у неё подвох, и сунул за пазуху, поверх шарфа.

Они ушли к входу. Мы с Егором пошли следом и остались у фонаря.

Ждать пришлось долго. Сначала из хода доносилось шарканье, глухое, как из-под пола, потом стихло совсем: они ушли за поворот. Егор сел на корточки рядом с Анисимовым и через минуту вскочил, заглядывая в темноту. Анисимов покосился на него и подвинул ему пустой ящик.

Я не стал сидеть. Плечо всё равно не давало устроиться. Осмотрел раму входа: косяки стояли крепко, верхняя перекладина была старая, с трещиной, но трещина сухая и давняя. Обошёл площадку, постучал по стенке из мешков, посмотрел, куда уходит вода с площадки: в правый угол, к заколоченному укрытию. Это надо было запомнить. Потом постоял у самого укрытия, глядя на доски крест-накрест.

— Ваше благородие, — сказал Егор, — а если он не выйдет?

— Тогда перерисуем.

Он сел на ящик.

Шарканье вернулось. Сперва далёкое, потом ближе, ровное, с передышками: так ползут люди, которые не торопятся и не сомневаются. Егор подался вперёд. Потом шарканье оборвалось.

Мы ждали. Из хода не доносилось ни звука. Я прикинул, где они могут быть, и вышло, что у ниши. Белов лежал там сейчас носом в глину, при свете фонаря, и смотрел то на крюк, то на дощечку, а за ним в темноте лежал Платонов и молчал, как обещал.

Егор поднялся, шагнул к входу и набрал воздуха.

— Не кричи.

Он выдохнул и остался стоять.

Мне самому хотелось сунуть голову в дыру и сказать одно слово: «направо». Я стоял и молчал.

Двадцать с лишним лет назад, на моей первой шахте, у нас был бригадир, старый, сухой, с руками, похожими на корни. Он оставался после каждой смены, сколько я его знал. Людям он доверял, но ему всё казалось, что без него кто-нибудь не туда свернёт. А однажды в пятницу он посмотрел на доску в нарядной, где я расписал, кто где работает и как выходить, повесил каску на гвоздь и сказал: «Ну, я пошёл». И ушёл домой в четыре, как положено. Я до ночи проторчал у телефона, ждал звонка. Звонка не было. Утром он пришёл раньше всех и ни о чём не спросил.

Мне тогда казалось, что он проверял меня. Теперь, у чужого фонаря, я думал, что он проверял доску.

Где-то за бастионом тяжело ударило, потом ещё раз, ближе. С перекладки над входом посыпалась сухая земля, тонкой струйкой, и перестала. Анисимов поднял голову. Я смотрел на перекладину: она стояла как стояла. Под землёй таких ударов почти не слышно, только чувствуешь их животом через глину.

Из хода по-прежнему не доносилось ничего. Потом что-то зашуршало, и шарканье пошло снова — ближе, ближе. В темноте мелькнул свет, слабый, качающийся.

Белов вылез первым, весь в глине, с фонарём в одной руке и дощечкой в другой. Распрямился, сколько позволяла стенка, огляделся, будто не верил, что вышел, и протянул дощечку Егору.

Егор взял. Посмотрел. Вдоль толстой линии от развилки до солнца над выходом бумага была затёрта: там, где Белов вёл по ней пальцем. Глиняный след шёл точно по стрелкам. У ниши палец остановился и оставил большое пятно — видно, подержал его там. Потом пошёл дальше, к солнцу.

Егор смотрел на этот след долго и ничего не говорил.

Платонов вылез следом, медленно, отдуваясь. Сел на корточки у стенки, вытер лоб тыльной стороной ладони.

— Подсказывать не пришлось, — сказал он.

Больше он ничего не прибавил. Белов стоял рядом и разматывал шарф, чтобы вытряхнуть из него глину.

Платонов посидел ещё, потом поднялся и подошёл ко мне.

— Ваше благородие. Где вы этому научились?

— На работах. Там, где люди каждый день новые.

Он посмотрел на дощечку в руках у Егора.

— У нас так не делали.

— У вас и не было нужды. До вчерашнего утра.

Платонов подумал.

— Оставим, — сказал он. — Для моих.

Дощечку повесили на гвоздь у самого входа, под прикрытием стенки, чтобы её не мочило снегом. Анисимов поглядел на неё, потом на меня.

— За ней тоже смотреть, ваше благородие?

— За ней тоже. Кто полезет — пусть сначала посмотрит. Кто вылезет — пусть повесит на место.

— Слушаю.

Егор не уходил. Стоял, смотрел на свой лист на гвозде.

— Иди, — сказал Платонов. — Насмотришься ещё.

На дворе Платонов поставил на чурбак котелок с водой и сел рядом. Я подтащил второй чурбак и хотел его перевернуть, но плечо дёрнуло так, что я выпустил его из рук. Платонов молча встал, перевернул чурбак и сел обратно.

— Поперечина, — сказал я. — Рамы там сели, верхняк провис, в дальнем конце течёт. Дерево менять надо.

— Надо, — согласился Платонов. — А как сменим — вот вам и второй выход. Из рукава напрямую к развилке.

— Пока не сменили — никакой она не выход. Туда никого: ни за инструментом, ни дорогу срезать. На дощечке крест стоит, пусть так и будет. И у устья, внутри, положи поперёк жердь, чтобы рукой нащупать.

— Слушаю.

— Чтобы сменить, кого возьмёшь?

Платонов ответил сразу, будто ждал вопроса:

— Кузьму, кого ж ещё. Да ему подручного, брус подавать. Только Кузьма на дворе лес принимает, а остальные — кто при входе, кто инструмент передаёт, кто носит. Сниму их оттуда — там встанет.

Я посмотрел на навес, где Кузьма всё ещё перебирал доски.

— Значит, к господину поручику.

— Значит, к нему, — сказал Платонов.

Егор, всё ещё топтавшийся у ворот, подошёл ближе.

— Ваше благородие, к господину поручику бежать?

— Беги. Скажешь: поперечину осмотрели, рамы в ней надо менять. Прошу освободить для неё Кузьму с подручным из наших и выписать дерево. Когда начинать — как господин поручик назначит.

Егор кивнул и побежал к калитке.

Глава 3

На третье утро я проснулся оттого, что повернулся на правый бок. Плечо ответило сразу и без всякого снисхождения. Я лежал в темноте, пережидая, и левой рукой нащупал правую кисть. Шрама от троса не было. Его не было ни вчера, ни позавчера, и я не надеялся, что он вернётся за ночь, но проверял — так, уже заперев дверь, проверяют, выключен ли утюг. Если всё это бред, подумал я, то бред на редкость добросовестный: третьи сутки одно и то же плечо болит в одном и том же месте.

Во дворе за ночь подморозило. Лужи у ворот затянуло ледком, и люди, которых Платонов поднял на работу, топтались под навесом, дули в кулаки и поглядывали на калитку. Ответа на вчерашнюю просьбу всё не было, а без него ни Кузьму, ни дерево я трогать не мог.

Меркушев пришёл, когда Кузьма уже дважды заглянул под рогожу, где лежал вчерашний лес. Поручик вошёл через калитку, худой, в шинели, забрызганной до пояса, и ещё на ходу достал из-за пазухи записную книжку. Обложка у неё покособилась от сырости. Он раскрыл книжку и загородил страницу рукавом от снега.

— Путь осмотрели?

— Осмотрели, господин поручик. От входа до развилки ход держит. В поперечине рамы сели, верхняк провис. Туда никого не пускаем.

— Это Чуркин донёс. — Меркушев перевернул страницу. — Теперь ваша просьба. Поперечина подождёт, пусть стоит закрытой. Внизу смена, днём выходит с инструментом, а у вас перед самым входом разбитое укрытие. Сначала его поправить и смену принять. Потом уже поперечина.

— А Кузьма?

— Ведерников, — поправил он, будто я ошибся в фамилии. — Других плотников нет и не будет. Помощника ему дадите из своих. Дерево вон, — он показал книжкой на навес, — Мохов вчера со склада привёз. Оно на обе работы: на укрытие и после на поперечину. Что под поперечину, отложите и не трогайте.

Он вынул из книжки сложенный лист и протянул мне.

— Временный наряд. Пока не сдадите укрытие, люди при вас.

Я развернул лист левой рукой. Наверху стояло пятнадцатое января. Писарь вывел без завитков: укрытие у нижнего входа исправить, приходящую смену принять, плотничный инструмент выдать Ведерникову. Ниже шли фамилии — все, какие у меня были, ни одной лишней.

— Людей на всё укрытие хватит, — сказал Меркушев, — если всех поставить. К вечеру сдадите целым.

Начальство видело на бумаге фамилии и укрытие. Площадки оно не видело.

— Всех поставить некуда, господин поручик.

— Как это некуда?

Я подобрал щепку и присел на корточки.левой рукой рисовать было неловко, линии выходили кривые, но для мёрзлой земли годилось.

— Вот устье. Вот стенка из мешков, в ней проход наружу. Укрытие справа: дверью на площадку, боком вдоль неё, к самому ходу. И дверь, и бок чинить можно только с площадки. А площадка поперёк — шесть шагов.

Меркушев смотрел на щепку.

— И что?

— Поставим к укрытию всех — двое будут работать, остальные стоять у них на локтях с досками. А смена вылезет из хода им в спины. С кирками.

— Подождёт смена.

— Где, господин поручик? Вот вылез первый. — Я ткнул щепкой в устье. — У него кирка, за ним в ходу остальные. Площадка занята. Куда вы его поставите?

— Пусть внизу подождут, пока доски уберёте.

— Внизу двое не разойдутся. Передний встал — все за ним лежат в глине. После смены, с инструментом. И сколько пролежат, никто не скажет.

Платонов всё это время стоял у меня за спиной и молчал. Тут он кашлянул.

— Ваше благородие, — сказал он Меркушеву, — Ведерникову у двери с топором работать. Пойдёт ему смена в спину — он топор опустит. А над ним накат.

Меркушев закрыл книжку, подержал в руке и раскрыл опять.

— Что вы мне сегодня сдадите, Лунёв?

— Площадку. Над дверью укрытия будет держать, на площадку ничего не свесится. Бок закрыт. От устья до стенки проход пустой. Смену примем без остановки, весь инструмент — наружу.

— А укрытие?

— Внутри — после. Накат над передней половиной, место, где сидеть и менять инструмент. Это следующей работой, когда внизу никого не будет.

— Половину, значит.

— Ту половину, которую можно сделать сегодня. На всё сразу рук нет, господин поручик: поставите всех к укрытию — смену принимать будет некому. За площадку отвечаю. За всё укрытие к вечеру не отвечу.

Меркушев постучал карандашом по книжке.

— А люди? Ведерников с помощником — у укрытия. Остальные?

— Двое носят дерево, пока смена внизу. Двое стоят снаружи у стенки, на передаче.

— Стоят. — Он поднял глаза. — Без дела.

— Пока смена внизу, без дела. Полезет — у них в руках окажется всё, что она вынесет. Овчинникова в то утро снаружи принимали Белов с Тесновым, а Мохов с Зуевым шли рядом, чтобы сменить. Не будь их, он лежал бы на площадке, а мы лазили бы через него.

Меркушев долго смотрел на рисунок. Потом носком сапога стёр его весь, вместе со стенкой.

— Площадка и приём, — сказал он. — Под вашу ответственность. Приду, когда смена выйдет. Чего не сделаете — назовёте сами.

— Назову.

Он черкнул в книжке строку, сунул книжку за пазуху и пошёл к калитке. У навеса оглянулся на людей, но ничего не прибавил.

Платонов развёл людей, пока поручик не скрылся. Кузьме — к укрытию, помощником Шубина. Шубин, белокрысый, с ресницами такими светлыми, что глаза казались голыми, выдернул из-за пояса деревянный угольник, потемневший от рук, — будто его уже позвали мерить. Белову с Моховым — дерево: до каменной стены на телеге, дальше на руках, что Кузьма отберёт. Стрелкову с Тесновым — к стенке у входа. Стрелков, рябой, в мелких оспинах, прежде чем идти, сунул в карман шинели шило и моток дратвы.

Кузьма вынес из-под навеса выданный по наряду ящик, откинул крышку и провёл большим пальцем по зубьям пилы. Потом закрыл ящик и понёс сам.

Участок и срок мне дали, способ оставили. За двадцать лет я так и не отучился этому радоваться.

До нижнего входа шли закрытым подходом, ломаным, между земляными стенками, и у старой каменной стены свернули вправо. Со двора входа не видно, и каждый раз, выходя к нему из-за последнего поворота, я сперва искал глазами фонарь, а уж потом всё остальное.

Анисимов сидел под фонарём на пустом ящике. Ладони, замотанные полотном, лежали у него на коленях.

— Внизу смена, ваше благородие, — сказал он, не дожидаясь вопроса. — При мне заходили.

— Услышишь их — кричи сразу. Не мне одному, всем на площадке.

— Слушаю.

Укрытие стояло таким, каким мы его оставили. Проём забит досками, над ним перекладина, съехавшая одним концом, и накат, просевший над дверью горбом. Бок, вскрытый в то утро, Кузьма зашил досками накрест, рядом торчал колышек. А мешки, снятые тогда с бока, так и лежали вдоль стенки площадки вторым рядом. Белов уложил их на совесть, ровно, и теперь они съедали добрую полосу у самого прохода наружу.

— Вот здесь пойдёт смена, — сказал я Кузьме. — От устья мимо двери, вдоль бока, к стенке и за стенку. Эта полоса должна быть пустой, когда они полезут. Над дверью должно держать так, чтобы человек прошёл под ней и не смотрел вверх. Бок закрыт. Внутри сегодня ничего не надо: ни наката целиком, ни лавки.

Кузьма слушал, глядя не на меня, а на перекладину. Потом подошёл к двери, постучал костяшками по доскам, приложил к ним ухо. Протиснулся вдоль бока, насколько пускала стенка, присел у досок крест-накрест и поддел ногтем шляпку гвоздя.

— Над дверью будет рама, — сказал он наконец. — Новая. Два косяка — у старых, по краям проёма. Перекладина на них, и накат я на неё клиньями подниму. Старую выну, когда новая возьмёт. — Он помолчал. — Только подпорку посреди двери ставить не буду.

Я как раз собирался сказать про подпорку. Сперва подпереть, потом трогать — так учили меня, так потом учил я.

— Почему?

— Встанет посреди проёма — мне через неё с брусом лазить, Шубину с доской. И пол-площадки она съест, а тут, вы говорите, люди пойдут. Косяки и будут подпорка. Их я первыми и поставлю.

Я оглядел накат, старую перекладину, место, где встанут косяки. Выходило у него не хуже моего, а для площадки — лучше.

— Пока клинья не взяли, под накатом кто?

— Никого. Клин быю снаружи, с площадки. Вот отсюда. — Он показал место сбоку от проёма.

— Пилить где будешь?

— Тут, по месту. Во дворе отпилишь — тут не сойдётся.

— Пили. Только у правой стенки, к мешкам. Дерево, обрезки, ящик — туда же. Полоса от устья до стенки пустая всё время, не только когда смена пойдёт.

— Можно, — сказал Кузьма. — А мешки эти, — он показал подбородком на второй ряд, — как бок прибью, положу обратно на бок. Тогда и полоса шире.

Он вытер ладони о штаны и тем же голосом, каким говорил про косяки, добавил:

— Только Шубин мой. Ему от меня слово, от других — никакого.

— От других — это от кого?

— От всех. — Кузьма почесал челюсть. На правой кисти у него белел старый рубчик, гладкий, словно вощёный. — И от вас, ваше благородие. Вы мне скажите, что вам надо. А ему уж я сам.

Шубин, державший ящик с инструментом, моргнул и уставился на меня: что я отвечу.

Антон, ещё школьником, попросил дать ему самому собрать свой первый рабочий стол — из магазинной коробки, с винтами и картинкой на крышке. Я сел рядом, только посмотреть. Через десять минут отвёртка была у меня, а он стоял у окна. Стол вышел ровный. Садился он за него редко.

— Договорились, — сказал я. — Мне от тебя. Что будет, когда Анисимов крикнет?

Кузьма подумал.

— Рама будет стоять, над дверью держать. Бок прибью, мешки положу, полоса пустая. За это я отвечаю. А как — моё.

— Твоё.

Я пошёл к стенке. Сзади Кузьма сказал Шубину что-то короткое, и затрещали доски на проёме. Я не обернулся.

За стенкой, в начале подхода, Платонов ставил Стрелкова с Тесновым. У откоса стояли носилки.

— Теснов у прохода, — сказал Платонов, не дожидаясь вопроса. — Берёт из рук. Стрелков за стенкой, складывает к откосу. Кто сдал — проходит, не встаёт.

— А если кого понесут?

— Носилки вот. Понесут — Стрелков подаст.

Стрелков потоптался и начал издали:

— Ваше благородие, дозвольте. Пока смена внизу, руки у меня, выходит, без дела. А у Теснова на ремне пряжка отпоролась. Так я бы её тут, у стенки, и пришил, чтоб время не пропадало. От прохода не отойду.

— Шей. Анисимов крикнет — ремень за пазуху.

— Это само собой.

Теснов, уже без ремня, рассказывал ему что-то длинное про своего прежнего боцмана, начатое, видно, ещё во дворе.

— Теснов, — сказал Платонов. — К проходу.

— Понял.

Он встал у прохода, оборвав боцмана на полуслове.

Мне хотелось вернуться и посмотреть, как Кузьма ставит косяк. Я пошёл к каменной стене встречать дерево. Белов с Моховым несли брус на плечах, пригибаясь на поворотах подхода, потом вернулись за досками.

— Всё донесли? — спросил я Мохова, когда они шли за последней ношей.

— Всё, что Кузьма отобрал, ваше благородие. — Он подумал. — Остальное во дворе. Оно не отобрано.

Возвращаясь, я слышал из-за стенки пилу и голос Кузьмы: «Держи. Не так. Вот». И Шубина: «А дальше что? Пилу дашь?» — «Дальше доску держи».

Я сел на край Анисимова ящика, и он подвинулся. Утро перешло в день, сверху сеял мелкий снег, из хода тянуло сырой глиной. Мы оба слушали не пилу, а темноту за устьем.

Пила смолкла, и застучал обух. Кузьма бил клин коротко, с передышками, и после каждого удара слушал. На третьем ударе с края наката потекла сухая земля, тонкой струйкой, прямо на новую перекладину. Я поднялся с ящика. Кузьма опустил топор и стоял не шевелясь, задрав голову, пока струйка не иссякла. Потом ударил ещё раз, слабее. Больше не сыпалось.

Я сел обратно. Анисимов глянул на меня снизу и промолчал.

— Ваше благородие. Гляньте.

Кузьма звал сам. Рама стояла в проёме: два новых косяка, светлых, пахнущих смолой, рядом с почерневшими старыми, и перекладина поверх, под самый накат. Между ней и накатом сидели клинья, вбитые до отказа. Старая перекладина ещё висела наискось, но теперь ни во что не упиралась.

Я постучал костяшками по новой перекладине, потом по косяку. Дерево отвечало плотно, без дребезга.

— Держит.

Кузьма кивнул Шубину. Вдвоём они подрубили старую перекладину и вынесли её из проёма на площадку — тяжёлую, с гнилым концом. Шубин отволоч её к мешкам. Кузьма заложил проём двумя досками поперёк и взялся за бок.

Он успел сорвать доски, прибитые крест-накрест, и посадить первую новую, когда Анисимов поднял голову.

— Идут! Ваше благородие, идут!

Из хода донеслось шарканье, потом стук железа о раму.

Бок был закрыт наполовину: одна новая доска, под ней щель в ладонь. Остановить Кузьму — значило оставить его таким до вечера. Кузьма стоял к боку вплотную, дерево лежало у правой стенки, и полоса у него за спиной оставалась пустой.

— Кузьма, добивай. От бока ни шагу. Обрезки — к мешкам.

— Шубин, обрезки, — сказал Кузьма, не оборачиваясь, и застучал чаще. Шубин сгрёб обрезки в охапку и прижался с ними к правой стенке.

Первым из устья вылез немолодой, грязный до бровей человек с киркой. Он ещё стоял на коленях, когда Теснов взял у него кирку и передал за стенку. Человек поднялся, держась за поясницу, огляделся, куда идти, и Платонов показал ему рукой: туда.

За ним полез второй, с двумя лопатами. Теснов принял лопаты. Третий нёс кирку и ведро; ведро Теснов взял сам, кирку тот отдал ему в руки, не дожидаясь.

Люди выходили один за другим, мокрые, с серыми от усталости лицами, и сразу освобождали руки. Дальше шли пустые: мимо заложённой двери, вдоль бока, за спиной у Кузьмы, мимо мешков — и за стенку. Кузьма бил гвозди, не оборачиваясь. Шубин подавал ему доски из-под локтя, прижимаясь к мешкам. Стрелков за стенкой складывал инструмент к откосу, и ремень Теснова торчал у него из-за пазухи.

Обрезок, отлетевший от Кузьминой пилы ещё утром, лежал у самой полосы. Я нагнулся за ним правой рукой, и плечо дёрнуло так, что я выпрямился. Отпихнул обрезок сапогом к мешкам. Колышек у бока выдернул левой рукой и бросил туда же.

Кто-то в середине вереницы, проходя под новой перекладной, всё-таки задрал голову.

— Гляди-ка, дверь новая.

— Проходи, — сказал Платонов. — Дверь никуда не денется.

В подходе за стенкой показался Меркушев. Он шёл навстречу выходящим, прижимаясь к откосу, и у самой стенки ему пришлось остановиться: Теснов передавал Стрелкову лопату через проход.

— Дозвольте, ваше благородие.

Меркушев отступил к откосу и пропустил лопату. Потом пропустил ещё двоих. Так и стоял у стенки, пока не вылез последний.

Последним выбрался старший смены, тоже с киркой. Отдал её Теснову, огляделся, нашёл глазами у откоса сложенный инструмент своих людей и сказал Стрелкову: «Всё». Потом пошёл за своими.

— Все вышли, ваше благородие, — сказал Анисимов.

Кузьма вбил последний гвоздь и отступил на шаг посмотреть. Потом они с Шубиным перекидали мешки из второго ряда обратно на бок, и у стенки открылось место, какого я на этой площадке ещё не видел: от устья до прохода пусто и широко, хоть носилки разворачивай.

Меркушев вышел на площадку. Задрал голову на новую перекладину, положил ладонь на косяк, потом зачем-то понюхал пальцы. Прошёл вдоль бока и обернулся на стенку. Стрелков, присев там на корточки, уже снова шил ремень.

— Что не сделано?

— Внутри укрытия, — сказал я. — Накат над передней половиной старый, лежит на новой перекладине. Внутри бревно с наката, сидеть и менять инструмент негде. Проём заложён, внутри никого. Это следующей работой.

Он записал. Я ждал.

— Принимаю, — сказал Меркушев. — Наряд остаётся за вами. Людей больше не будет.

— Я не прошу.

Он ещё раз взглянул на Стрелкова с ремнём, ничего не сказал и ушёл тем же подходом, теперь пустым.

Кузьма поднял старую перекладину за здоровый конец и примерил к стенке у фонаря.

— На дрова? — спросил Платонов.

— На лавку, — сказал Кузьма. — Анисимову, к фонарю. Гнилое отпилю.

Анисимов покосился на свой ящик.

После работы во дворе пахло дымом и мокрым сукном. Люди ели в общем отсеке, а я сидел на чурбаке у пристройки с миской на коленях, когда в калитку вошёл Егор с почтой.

— Ваше благородие! — Он подбежал и протянул мне пачку бумаг, перевязанную бечёвкой. — От господина поручика. Тут служебное, а это вот, — он вытянул из-под бечёвки отдельный лист, сложенный пакетом и запечатанный сургучом, — это не служебное. Писарь сказал, частное, с обычной почтой пришло, а господин поручик велел вам в руки, я его и нёс отдельно, чтоб не помять, а то в пачке...

— Кто писал?

Егор заговорил медленнее.

— Не знаю, ваше благородие. Рука не писарская. Я не читал, только снаружи видел.

— Спасибо. Иди ешь.

Он ушёл к отсеку и оглянулся с порога.

На лицевой стороне стояли мой чин и моё нынешнее имя, выведенные крупно, старательно, с завитками на заглавных. Почерк я узнал. Откуда — сказать бы не мог: так в толпе узнаёшь лицо, которому не помнишь имени.

Я сломал сургуч. Сверху, в углу, стояло, откуда писано, — село, уезд и губерния. Ниже — «Любезный сын мой Павлуша».

На «Павлуше» что-то во мне дрогнуло. На миг я услышал это имя из соседней комнаты — женский голос, низкий, нараспев, — и пахло горячим воском. И всё. Ни лица, ни комнаты. Я подождал, не придёт ли ещё. Не пришло.

Писала она без помарок, видно, переписывала набело. Молилась за меня. Слышала, что под Севастополем тяжело, и просила написать, здоров ли я, тепло ли мне, не нужно ли чего. В конце, отдельной строкой, будто долго решалась: если можно без ущерба себе, прислать сколько-нибудь из жалованья — «сам знаешь наши обстоятельства». И подпись: «Мать твоя Марфа Лунёва».

Сам я не знал ничего. На этом «сам знаешь» я споткнулся бы в первом же разговоре с ней. Первая живая душа здесь, которая сразу заметит, если я совру, — и которую я ни разу в жизни не видел.

Я ушёл к себе и развязал связку из сундучка. Под старым письмом, прочитанным в первый день, лежало ещё несколько, и два из них — той же рукой. Та же подпись. То же село наверху, буква в букву, и тот же «Павлуша». Я пробежал их: здоровье, погода, поклоны, просьба беречь себя. Про обстоятельства — ни слова. О них, видно, не писали: их и так знали.

Ответить я решил сразу. От своего нынешнего имени — другого у меня здесь не было — и только то, что правда: жив, плечо ушиб, служу при людях, которых теперь знаю по фамилиям. О том, чего не помню, — ни слова, ни «помнишь ли», ни «как тогда». Из жалованья pošлю, сколько смогу, не всё и не сразу. Обещать, что обстоятельства, каких я не знаю, поправятся сами, не стану.

Антону я так и не позвонил. Ей хотя бы можно было написать.

Только не сейчас и не здесь. На столе лежали наряд, Егоровы листы и служебная пачка от Меркушева, а за дощатой перегородкой жил общий отсек: стучали ложки, кто-то стаскивал сапоги, Теснов досказывал своего боцмана, оборванного утром у прохода. Письмо незнакомой матери в такой шум с первых слов не начнёшь. Я положил её лист в сундучок, поверх связки, и завязал бечёвку.

Потом вышел в отсек сказать, чтобы Кузьму с Шубиным до утра не трогали.

В отсеке было тесно и сыро. У двери натекло со всех сапог, и пол там темнел лужей. Шинели сохли на гвоздях в два слоя, мешки и узелки лежали на полу, кто куда сунул: полка не было. Стрелков сидел у окна и, шурясь, дошивал Тесновский ремень. Рядом Мохов зажимал между двумя дощечками исписанный лист — сушил. Увидев меня, он сунул дощечки под колено и уставился в пол. Кузьма спал сидя, привалившись к стене, и держал руку на ящике с инструментом.

Глава 4

Дождь шёл всю ночь на шестнадцатое, ровный, без ветра, и к утру от вчерашнего ледка во дворе не осталось следа, одни лужи. В общем отсеке натекло под дверь со двора. Полок там так и не завелось, и узлы с вечера лежали на полу. Теперь их растаскивали к печке и отжимали, ругаясь вполголоса. Белов выкручивал над порогом портянки из своего узла. Теснов выудил из лужи ложку и уверял всех, что клал её на сухое.

Сухое место для их вещей я рассчитывал найти по соседству. Рядом с пристройкой стояла пустая комната с отдельной дверью во двор, и из вчерашней пачки Меркушева я знал, что он разрешил занять её портнихе — под платную починку. Портнихе, по моему расчёту, хватит места у окна, вдоль сухой стены встанет лавка под узлы, и всем будет хорошо. Расчёт я составил вечером, лёжа, и он мне нравился.

Дверь в комнату была открыта, внутри мыли пол.

Под окном стояла лужа, с подоконника ещё капало. Ставня висела на одной петле, и в щель под рамой ночью било дождём. Молодая женщина на коленях выжимала тряпку в ведро. Руки у неё были крепкие, красные от холодной воды, ногти острижены коротко. Увидев меня, она поднялась и запястьем отвела со лба прядь. Волосы у неё были густые, каштановые, подобранные наспех, а у края брови белел маленький шрам.

У сухой стены парень лет шестнадцати раскладывал на мешковине сапожный инструмент и вытирал каждый тряпкой. Над ухом у него торчал тёмный вихор, ладони были широкие, взрослые, не по росту.

— Лунёв, — сказал я. — Павел Андреевич. Мой наряд живёт рядом, в пристройке.

— Невежина. Елизавета Петровна. — Она вытерла руки о передник. — Брат мой, Василий. Комнату нам господин поручик дал, если вы о ней.

— О ней. Я вот что придумал. Люди у меня спят в отсеке, а вещи держать негде, ночью всё подмочило. Вдоль этой стены — лавку под их узлы. Вы здесь с утра до вечера, приглядите. Кому что зашить — под рукой. Плотник мой вам за это ставню наладит. А для почину — вот. — Я повернулся к ней правым боком. Рукав шинели разошёлся по шву у плеча, и края сукна торчали бахромой.

Лиза выслушала не перебивая и повесила тряпку на край ведра.

— Лавку под узлы, — сказала она. — Приглядеть. Зашить, кому что. Рукав. А мне за это ставню. — Она обернулась на окно. — Дорого у вас ставни ходят, Павел Андреевич.

Василий хмыкнул в мешковину.

— Я не хозяйка вашему наряду, — сказала Лиза. — Комнату мне дали шить за деньги. А шить мне вот где.

Она прошла к окну, прямо по луже, и встала спиной к свету.

— Тут свет. Другого у меня нет. Отойду на два шага — пуговицу пришью криво.

— А у стены?

— У стены моё, — сказал Василий и поднялся, держа колодку, обёрнутую тряпкой. — Инструмент. Колодка учителя, ей мочнуть нельзя. Я их ночью с пола поднял.

— Ему тут недолго, — сказала Лиза, не оборачиваясь к брату. — Отправлю его отсюда, как будет с кем. А пока это его угол.

Василий ничего не ответил и стал заново перематывать тряпку на колодке, хотя она и так сидела плотно.

Я уже прикидывал, что Кузьма сделает ей у окна стол пошире, а Василию полку под инструмент, и если предложить это сразу, то... Тут я вспомнил кран.

Мы с Ириной тогда поссорились, и вечером я, вместо того чтобы извиниться, перебрал на кухне кран, который капал полгода. Сделал на совесть. Ирина пришла, открыла воду, закрыла и сказала, что кран тут ни при чём. Кран после этого не капал ни разу.

Стол я предлагать не стал.

— Что вам нужно, чтобы здесь работать?

Лиза ответила не сразу.

— Чтобы на стол не лило. Чтобы ко мне не ходили кто хочет и когда хочет. И чтобы работа была работой: принесли, сговорились, я сделала, мне заплатили. За ставню, за честь, за доброе слово я не шью.

— Тогда по отдельности. Рукав — заказ, мой собственный. Сделаете — заплачу из своих, сколько скажете. Ставня — не за рукав. Комната стоит на нашем дворе, двор на мне, и что на нём течёт, тоже на мне. Кузьма закроет щель, чтобы не лило. В ваших заказах ни он, ни я не распоряжаемся. А узлы мои люди будут держать у меня.

— У вас — это где?

— В моей комнате, в пристройке. Там угол сухой.

— А сами где будете?

— Мне останется где спать. Больше мне там не нужно.

Лиза посмотрела на мой рукав — прикидывала работу, а не меня.

— Шинель оставьте, — сказала она. — К вечеру сделаю. Деньги — когда сделаю, не раньше. Плотника пустите, только пусть сперва мне скажет, что тут будет делать. Комната моя.

— Ваша.

Снимать шинель одной левой оказалось так же неловко, как в первый день у Кленова. Пока я выворачивался из правого рукава, Лиза стояла ко мне спиной и пробовала пальцем петлю ставни. Обернувшись, когда шинель уже висела у меня на локте, и приняла её молча.

В открытую дверь постучали по косяку. Кузьма, видно, услышал со двора слово «ставня» и не стал ждать, пока позовут.

— Дозвольте взглянуть?

— Взгляните, — сказала Лиза. — И скажите, что будете делать.

Кузьма прошёл к окну и ковырнул ногтем раму. Потом высунулся наружу и долго разглядывал ставню.

— Сухо будет, — сказал он. — Щель под рамой закрою, сегодня. А ставню не трону.

— Почему? — спросила Лиза.

— Тронешь её сейчас — она и вторую петлю отдаст. Будет у вас не ставня, а калитка. Ставню я потом сделаю целиком. И стол тут... — Он отступил на шаг и оглядел простенок. — Стол тут встанет широкий, с ящиком под лоскут, а края я бы скруглил и по краю...

— Мне на нём кроить, — сказала Лиза. — Края пусть будут прямые.

— Стол — потом, — сказал я. — Сегодня щель. Возьми вчерашние обрезки. Что отложено под поперечину, не трогать.

— Обрезков хватит. — Кузьма ещё раз тронул ставню, бережно, как больную руку. — Только до меня её пусть никто не подвязывает. Её я сам.

— Никто не тронет, — сказала Лиза и подала брату ведро.

Пока Кузьма стучал у Лизиного окна, в отсеке разбирали подмоченное. Платонов стоял посреди пола над кучей узлов. Вчера он весь день простоял у стенки на передаче, глаза у него были красные, и сапоги он ещё не снимал.

— Кузьму бы на час, ваше благородие, — сказал он. — Полку сбить вдоль стены. Узлы с пола убрать, а то в другой раз опять поплывут.

— Кузьма у ставни. Это ему на сегодня, и это обещано.

— Тогда на нары класть. — Он оглядел нары. — А спать тогда где?

— Ко мне несите. В моей комнате угол со столом сухой. Узлы — на стол, под стол и вдоль стены.

Платонов помолчал.

— К вам, — повторил он. — Ваше благородие, вещи нижних чинов в офицерской комнате...

— В моей комнате. Я разрешаю.

— А спать?

— Спать — здесь, у себя. У меня только вещи.

— Это само собой. — Он глянул на моё плечо. — Носить кто будет? Вы не будете.

Удобное в моей комнате было одно: стол в дальнем углу, где не дуло от двери и всегда было сухо. Бритвенный прибор и бумаги я переложил в сундучок, огарок — на табурет у койки. Сундучок надо было задвинуть под койку. Я взялся за ручку правой рукой, и в плече стрельнуло раньше, чем сундучок оторвался от пола. Я перехватил левой и потащил его волоком.

Тут в отсек со двора вошёл Егор, мокрый до колен, и заговорил, ещё не закрыв за собой дверь:

— Ваше благородие, от Осипа Дмитриевича. Он Анисимова утром смотрел, ладони. Говорит, можно обычную работу, без поблажек. И чтоб вам передал я, а не Анисимов, а то Анисимов скажет, так...

— Анисимов, слышал?

Анисимов сидел у печки. Повязок на руках у него уже не было. Он сжал ладони в кулаки и разжал. Кожа на них была новая, розовая, лоснилась.

— Слыхал, ваше благородие.

— Осип Дмитриевич смотрел. Ему виднее.

Анисимов встал и прошёл ко мне в комнату. Сундучок он поднял, как пустой, и задвинул под койку, к перегородке, где было суше. Потом вернулся в отсек за первым узлом.

Узлы носили по одному. Каждый, входя, мялся на пороге офицерской комнаты, пока Платонов из отсека не говорил: «Клади». Белов положил свой мокрым углом к стене. Мохов сунул под свой узел две дощечки, перевязанные бечёвкой, и поправил узел так, чтобы их не было видно. Свой Платонов принёс последним и положил с краю. Скоро стол и место под ним были заняты, вдоль стены до двери встали сапоги на смену. Мне остались койка у перегородки и табурет с огарком — сухое место, где спать и читать. В отсеке у окна, где с утра сохло мокрое, впервые стало можно сесть.

Ближе к полудню Кузьма пришёл сказать, что щель закрыта, и я пошёл с ним. Раму у Лизы снизу обшили обрезками, подогнанными впритык, а снаружи под окном внахлёт шла доска, чтобы вода скатывалась мимо. Ставня висела, как висела, на одной петле. Лиза провела ладонью по обрезкам и по подоконнику. Потом тронула пол у стены. Пол там темнел сыростью.

— Не льёт, — сказала она. — Пол сырой. А это надолго?

— До настоящей ставни. — Кузьма постучал по обрезкам. — Край пола перестелить надо. Это тоже потом, вместе со столом.

— Стол какой — скажу я.

— Скажете, — согласился Кузьма. — А как — уж я.

Лиза не возразила. Василий у сухой стены уже натягивал на колодку чей-то сапог с отставшей подошвой.

В отсеке Платонов сидел на нарах разутый. Через минуту он спал, привалившись к стене.

К вечеру у окна в отсеке завелась очередь: свет там держался дольше всего. Стрелков штопал рукавицу, потом уступил место Платонову. Я сидел у печки и грел руки. Ни бумаг, ни наряда при мне не было, и от этого я чувствовал себя как в гостях.

Платонов сел у окна с рабочей сумкой, в которой носил наряд и записки, и стал разбирать её на колене. Наряд вернул в сумку. Следом вынул лист, сложенный вчетверо и потёртый на

сгибах, и подержал в руке. Большой палец левой руки у него не гнулся, и бумагу он прижимал неловко, боком ладони. Свет был ещё хороший. Платонов провёл ногтем по сгибу, будто проверял, цел ли лист, и разворачивать его не стал.

— Из дому, Арсений Фомич?

— От дочери.

— Ответить успеете?

— Успею, — сказал он погодя. — Не к спеху.

Он сложил лист ещё раз и сунул за пазуху, под рубаху. Сумку повесил на гвоздь у окна и встал, уступая место.

Следующим был Егор. Он сел, положил на колени плоский свёрток в тряпице и тут же поднял глаза на меня.

— Ваше благородие, можно... показать? Оно не служебное. И не готово.

— Покажи.

Он развернул тряпицу и выдвинул лист — не весь, на ладонь. Рядом в тряпице лежал огрызок карандаша, тот самый, что я брал у него в первое утро. Тонко, без единой лишней черты, там была женщина в платке, завязанном надо лбом. Широкие скулы, тяжёлые веки, губы сжаты: вот-вот скажет что-то и пока раздумывает. Ниже подбородка Егор лист не выдвигал.

— Мать, — сказал он. — По памяти.

— Строгая.

— Это она на меня так смотрит. — Он подумал. — Если домой поздно приду. На других — нет.

Платонов, стоявший у него за спиной, глянул на лист.

— На тебя похожа, — сказал он.

Егор покраснел до ушей и задвинул лист обратно в тряпицу.

— Дорисуешь — покажешь, если захочешь, — сказал я. — А свечу по вечерам берите у меня. Оба, кому когда понадобится.

— Благодарствую, ваше благородие, — сказал Платонов.

Егор завязал свёрток бечёвкой и унёс к себе на нары, под изголовье.

Свечу в тот вечер у меня никто не попросил: Платонов спал, Егор к своему свёртку больше не притрагивался. Я зажёл огарок на табурете и выдвинул из-под койки сундучок.левой рукой это получалось. Письмо матери лежало сверху, где я положил его вчера.

Я перечитал его по строке. Рука была знакома глазу так же, как вчера: крупные буквы, завитки на заглавных. Я подождал, не придёт ли опять голос из соседней комнаты и запах воска. Ничего не пришло. Знакомая рука осталась только знакомой рукой, и никого за ней видно не было.

Стол был занят узлами. Писал я на крышке сундучка, сидя на краю койки. За перегородкой храпели вразнобой, кто-то во сне скрёб ногтями по доске нар, и вчера этот шум не дал бы мне начать. Сегодня он не мешал. Перо я долго держал над листом. Начать с того, как звал её прежний Лунёв, я не мог: этого я не знал. Обращение я оставил пустой строкой и начал с того, что знал наверняка, — с нынешнего дня. Жив. Служу при работах. Живу в тепле, с толковыми людьми, ем горячее. Сплю в сухом углу. Плечо ушиб, заживает.

Буквы выходили не мои. Я всю жизнь писал печатными, как на чертеже, а здесь строка шла с наклоном, хвосты у букв закруглялись петлёй. Марфа Ивановна узнает эту руку с первой строки. Я свою руку не узнавал.

На обстоятельствах, которые я «сам знаю», перо встало. Тут сын пишет про дом, про то, что помнят двое. Я не помнил ничего и выдумывать не стал. Написал одно: из жалованья пришло, сколько смогу. Исполнить это я мог.

До подписи я не дошёл. «Сын ваш» не давалось: сын у меня был свой, Антон, и остался там, куда писем не носят.

В отсеке стукнула дверь, и Теснов сказал оттуда: «Ваше благородие, к вам». Лиза стояла на пороге моей комнаты с шинелью на руке и дальше порога не шла. Она оглядела узлы на моём столе, сапоги вдоль стены и койку.

— Значит, правда к себе забрали.

— Я говорил.

— Говорят многие. — Она подала шинель. — Готово.

Шов у плеча шёл ровно, мелким стежком, бахромы по краям не осталось.

— Сколько с меня?

Она назвала цену. Я переложил начатый лист на койку и достал из сундучка деньги. Лиза взяла их и убрала в карман передника, не разглядывая. Взгляд её задел лист на койке и сразу ушёл к огарку.

— Пишете, — сказала она.

— Начал. Матери.

— Допишете, — сказала Лиза. — Доброй ночи, Павел Андреевич.

Я положил начатый лист в сундучок, поверх материнского письма, и закрыл крышку. Дописать, узнать, как надписать и с кем отправить, — это ещё предстояло. Шинель я повесил на гвоздь, рядом с мундиром.

Было уже поздно, в отсеке спали, и огарок почти догорел, когда в дверь снова постучали. Платонов вошёл в накинутаой на плечи шинели, без фонаря.

— Ваше благородие. Посыльный от соседнего наряда. Смена Дроздова из ближнего рукава обычным путём выйти не может.

Я встал с койки.

— Раненые?

— Посыльный не знает. Есть ли, сколько — не знает.

— Кто его прислал?

— Соседи, с нижнего входа. Велели передать и бежать назад.

— Сам он внизу был?

— Не сказал. Я спросил — он своё повторил.

— Где он?

— Ушёл обратно.

Ближний рукав я позавчера прошёл до самой поперечины. В дальнем его конце тогда текло сверху и треснула рама. Там ли теперь беда или в другом месте, посыльный не знал, а гадать со двора я не стал.

— Поднимай наружных, как вчера у стенки: носилки туда же, люди за стенкой. Кузьму буди, пусть ящик берёт. Я к нижнему входу.

— Слушаю. — Платонов уже поворачивался к отсеку. — Вы там нас дождитесь, ваше благородие.

— Дождусь.

Шинель я надел на ходу. Правый рукав сел на место, свежий шов не тянул. Сундучок с письмами остался под койкой, на сухом. В отсеке Платонов тряс за плечо Кузьму, и тот, ещё не открыв глаз, нашаривал рукой ящик с инструментом.

Во дворе было черно и сыро, в лужах дрожал свет из двери отсека. У Лизы под ставней было тихо и темно. Я вышел калиткой в закрытый подход и, держась левой рукой за мокрый откос, пошёл к нижнему входу.

Глава 5

У нижнего входа горел фонарь, и под ним сидел на корточках посыльный, без шапки, с мокрыми волосами. Увидев меня, он вскочил.

— Ваше благородие, они в ближнем. Говорят, весь дальний конец лёг.

— Кто говорит?

— Наши. — Он махнул рукой за стенку, в темноту. — Мне велено тут ждать.

— Сам внизу был?

— Нет, ваше благородие.

— Ступай к своим. Скажи: у входа Лунёв, соседей будем выводить.

Он убежал в подход, и я остался у фонаря один. Была полночь или около того. Платонову я обещал дожждаться и ждал, хотя стоять было труднее, чем ползти. Из устья тянуло сыростью, с перекладкины капало на доски. Больше оттуда не доносилось ничего.

Платонов вывернул из-за стенки скоро. За ним шли Кузьма с ящиком на плече, Белов и Егор. В подходе стукнули о мешки носилки, и кто-то из наружных шёпотом ругнулся.

— Платонов, со мной, — сказал я. — Остальные здесь.

Ход был тот же, что при первом осмотре: рамы, мокрая глина, запах сала. Я полз за Платоновым на левом локте, прижимая правую руку к груди. Перед нишей, сбоку, где начинался ближний рукав, он остановился и поднял фонарь.

Начало рукава легло. В двух шагах от устья раму вывернуло: стойка ушла вбок, верхняк переломился посередине, и в пролом сползла мокрая глина, до самого потолка, с торчащими из неё досками обшивки. Из-за излома сверху сыпалось тонко и без перерыва.

— Эй, в рукаве! — позвал Платонов.

Ответили не сразу, глухо, будто из-под пола:

— Тут. Дроздов, старший смены.

— Подпоручик Лунёв, — сказал я в глину. — Сколько вас?

— Четверо. Все живы. — Голос помолчал. — Петелин Влас колено ушиб, когда легло.

Ползёт сам, только отстаёт.

— Где сидите?

— У завала, с нашей стороны. Глина доверху, насквозь не видать. Толщины её не знаю.

Я подлез к самому завалу и посветил. Глина стояла сырая, в потёках, а переломленный верхняк держался на одной доске обшивки. Вынь доску — пойдёт всё, что над ней. Разбирать такое можно только одному, лёжа, ставя раму за рамой под сыплющимся сверху, и не зная, когда покажется их свет. А за завалом сидели четверо, и один из них не мог ползти быстро.

В дальнем конце их рукава была поперечина. Я лежал у обоих её концов позавчера. Шесть метров. Рамы в ней сели, но стояли; посередине провис верхняк, под ним лежала куча земли; с рукавного конца треснула рама и капало. Рыть её было не надо. Её надо было вернуть.

— Мы бы с нашей стороны начали, ваше благородие, — сказал Дроздов. — Трое на руках есть.

— Не трогайте. Сядет на вас.

За завалом помолчали.

— А Влас как же? — спросил Дроздов. — Мы его тут не оставим.

— И я не оставлю. Ждите. Скажу, куда идти.

В нише я развернулся и пополз к выходу.

На площадке ждали, сбившись у фонаря. Наружные с носилками стояли за стенкой, оттуда торчали ручки и чьи-то локти.

— Кузьма. Поперечина.

Кузьма снял ящик с плеча и поставил у ног.

— Отложенное под неё — моё, — сказал он. — Я его отбирал. Пусть несут, только брус укажу я. И людей бы мне, ваше благородие, хоть двоих, землю отгребать.

— Двое там за тобой не лягут. Белов.

— Белов так Белов.

Белов молча намотал на кулак конец шарфа.

— А наружные? — спросил Платонов. — Держать их у носилок или к Кузьме, на подачу?

— У носилок. Выведем — им нести. Двоих отпусти во двор за деревом, и сразу назад.

Принимать выходящих будешь ты, у поперечины, со стороны развилки, чтобы ход к выходу стоял пустой. Анисимова — к нише.

— Слушаю. — Платонов уже обернулся к стенке. — Мохов, Шубин! Во двор, под навес.

— Под рогожей, что слева, — сказал им Кузьма. — Брус с зарубкой и стойки под ним. Обрезки не берите.

— Егор. К Кленову. Скажешь: соседей выводим, четверо, у одного колена. Пусть ждут.

Егор повторил и побежал.

Назад я полз за Кузьмой, Белов — за мной. У рукава я снова позвал:

— Дроздов! Веди своих к поперечине. Мастер идёт к ней с нашего конца.

— Поперечина ж закрытая, ваше благородие. С нашего конца рама треснутая, течёт. Влас там пролезет?

— Ползком пролезет. Пойдёт последним, ты за ним. Здесь никого не оставим.

Дроздов ответил не сразу.

— Слушаю, ваше благородие. — И уже не мне: — Родион, Митрофан, к поперечине. Влас, держись за меня.

Голос ушёл вглубь рукава. Кузьма протолкнул ящик за поворот и пополз следом.

Сломанная стойка в устье поперечины белела изломом, как на Егоровой дощечке. Кузьма снял жердь, лежавшую поперёк устья с самого осмотра, выбил стойку тремя ударами обуха и вытянул её наружу.

— Ничего она не держала, — сказал он. — Только мешала.

Потом заполз внутрь по пояс, толкая перед собой фонарь.

Легли так, как позволял ход. Кузьма — в поперечине. Белов — у устья со стороны развилки: там ход раздавался, и было куда сложить дерево. Я лёг рядом с Беловым, на левый бок, и светил Кузьме вдоль спины. От устья к выходу ход оставили пустым.

— Вот, ваше благородие. — Кузьма постучал костяшками по провисшему верхняку. — Этот не трону. Тронь его — что над ним, всё будет у меня на голове. Под него поставлю новую раму, пониже: две стойки и короткий брус. Лезть будет ниже, зато держать будет она. Землю из-под него — Белову. Тот конец отсюда не видать. Доберусь — скажу.

— Способ твой. Мне нужно, чтобы прошли все четверо, по одному.

— Пройдут. — Он подумал. — Только вы, ваше благородие, руками сюда не лезьте. У вас плечо, а у меня тут каждая доска считанная.

Дальше Кузьма замолчал. Землю из-под верхняка он выгребал ладонями назад, под себя, а Белов подтягивал её мешком и ссыпал в развилке под стенку. Брус приполз по ходу от ниши: Анисимов толкал его перед собой, Белов принимал у устья. Один раз брус встал поперёк, упёршись концом в стойку. Белов дёргать не стал: перехватил его ближе к середине и приподнял конец над стойкой. Брус прошёл.

— Дроздов!

— Тут, ваше благородие. — Голос шёл теперь прямо из поперечины, из-за кучи. — Все у конца. Влас при мне.

— Долго ещё? — спросил другой голос, помоложе и злее.

— Пока стучим — сидите. Перестанем стучать — первый готовится.

— А первый кто?

— Ты, Родион, — сказал Дроздов.

Кузьма поставил одну стойку, потом другую, подвёл под провисший верхняк новый брус и стал загонять клинья. На третьем клине сверху зашуршало. Кузьма замер. Белов перестал возить мешком. Струйка сухой земли пробежала у Кузьмы по спине, по фонарю и кончилась. Он подождал, подбил клин ещё раз, послушал и пополз дальше, под новую раму.

Скоро от Кузьмы в свете фонаря остались видны одни сапоги. Дальше он мог и без меня. Я выбрался из-за устья и пополз к нише.

Платонов сидел там на корточках, согнувшись под копчёной доской, а рядом Анисимов разминал новые розовые ладони: дерево всё ушло к поперечине.

— Как будешь брать?

— У устья, с развилки. — Платонов показал ладонью: вылез, повернул, отпустил. — Ход до ниши пустой. Тут Анисимов, за поворот подаст. У входа наши.

— Наши на месте?

— На месте. Мохов, как принёс брус, на склад рвался: долото, говорит, Ведерникову поуже, на складе есть. Я не пустил.

Из ниши ход шёл прямо к выходу, и в конце его желтел фонарь. Я высунулся и крикнул вдоль хода:

— Зуев!

— Тут, ваше благородие! — донеслось с площадки.

— Носилки при вас?

— При нас. Все тут.

— Мохов, склад — после. Сейчас ты у носилок.

— Слушаю, — отозвался Мохов обиженным голосом.

Назад мы поползли вдвоём. У поперечины Платонов перебрался за устье и лёг головой к нему, Белов с деревом отодвинулся глубже в развилку, а я лёг на своё место. Ход за нами опустел до самой ниши.

Кузьма сопел в дальнем конце. Потом оттуда донеслось глухо, как из бочки:

— Треснутая держит. Я ей стойку рядом подставил, для совести. А вот это — долой.

Затрещало дерево. Кузьма завозился, выругался шёпотом, и поперечина вдруг посветлела: в дальнем конце проступил жёлтый огонь чужой свечи.

— Доска, — сказал Кузьма. — Обшивку оборвало и землёй придавило, поперёк. Всё.

Он выполз задом, серый от глины с головы до сапог, и лёг в развилке, отдуваясь. Ящик подтянул к себе и положил на него ладонь.

— Пройдут, — сказал он. — Один раз. По одному, рам не задевать. А чтоб ходить тут, как по рукаву, — этого не будет, ваше благородие. Её на одну ночь хватит.

Я заполз внутрь посмотреть. Новая рама стояла ниже старой на ладонь, и под ней приходилось ложиться на бок. Над ней висел прежний верхняк, теперь на клиньях. Куча ушла, под локтем был мокрый пол. В дальнем конце у треснутой рамы стояла новая стойка, и на неё капало сверху. Просвет был узкий: голова проходила, плечи — только боком. Я выполз обратно.

— Дроздов! Первого.

Свет в дальнем конце заслонило. Зашаркало, засопело, и в устье, на свету моего фонаря, показалось лицо: тёмные усы в глине, круглый подбородок, сощуренные глаза.

Родион прошёл.

Платонов взял его за плечо и помог выбраться в ход.

— Кто?

— Сафонов, Родион.

— Цел?

— Цел. Локоть ободрал, это ещё когда легло и мы отскакивали. И шапку там оставил, у завала. Старая, а всё ж своя.

— К выходу. У ниши Анисимов.

— А к своим нам когда?

— Как все выйдут, — сказал я.

Сафонов развернулся головой к выходу и пополз. За пазухой у него звякнуло жестью.

Второй вылез быстрее. Лоб у него был широкий, ресницы светлые, совсем белые от глины. Он ещё не выбрался по пояс, а уже оборачивался назад.

— Арефьев я, Митрофан, — сказал он, не дожидаясь вопроса. — Влас как? Влас-то пролезет?

— Пролезет, — сказал Платонов.

Арефьев выбрался, развернулся к выходу и остался лежать у самого устья, косясь в поперечину.

— Я бы тут обождал, ваше благородие. Подсоблю, ежели что.

— Тут лежать нельзя. Влас пойдёт — ему это место нужно пустым. К выходу.

Он помедлил ещё, глядя то в поперечину, то на меня, и пополз.

— Влас, пошёл, — сказал в дальнем конце Дроздов. — Я сзади.

Шарканье пошло медленно, с остановками. Петелин полз на локтях, волоча больную ногу прямой, и на каждом рывке выдыхал сквозь зубы. Свеча Дроздова светила ему в спину, лица я не видел — только плечи и мокрую макушку.

У новой рамы он лёг на бок. Плечи прошли. Колено застряло.

Он дёрнулся раз, другой. Согнуть ногу он не мог, а прямая не проходила мимо стойки. Сверху сыпануло.

— Держит, — сказал за моей спиной Кузьма. — Только стойку не трогай.

— Сам, — негромко сказал Петелин. — Сам пройду.

Он дёрнулся ещё раз и замер, уткнувшись лбом в глину.

Я протянул было правую руку и убрал. Плечо его не удержит, а дёрнешь вкось — посадишь колено на стойку.

— Петелин. Ложись на здоровый бок. Ногу не гни.

Он перевалился.

— Дроздов, ладонь ему под сапог. Толкай, как скажу.

— Держу.

— Петелин, руки вперёд. Обе.

Он помедлил. Потом из-под рамы показались две руки, чёрные от глины. На правой мизинец был кривой, давно сросшийся.

Платонов взял его за запястья.

— Раз.

Дроздов толкнул, Платонов потянул. Колено прошло мимо стойки, не задев её.

Петелин ткнулся лицом в глину и коротко крикнул в неё.

Сверху пошуршало и стихло.

— Ещё.

Его вытянули по пояс, потом целиком. Платонов развернул его головой к выходу и придерживал за плечо, давая отдышаться.

— Сам бы вылез, — сказал Петелин, не поднимая головы.

— Сам и вылез, — сказал Платонов.

Последним выбрался Дроздов. Брови у него были густые, тяжёлые, а волосы надо лбом наполовину седые, хотя стариком он не был. На поясе висел кожаный чехол, из него торчал черенок деревянной ложки. Он лёг рядом с Петелиным, сначала поглядел на него и только потом — на меня.

— В рукаве кто остался?

— Никого, ваше благородие. Сафонов вышел, Арефьев вышел. Влас вот, с коленом. Я последний.

Я посветил в поперечину. В дальнем конце, у треснутой рамы, на доске догорал огарок, и перед ним было пусто.

— Свеча ваша?

— Наша. Пускай догорает.

— Сюда больше никого. Ни за шапкой, ни за инструментом. Своим скажешь.

— Скажу.

Платонов положил поперёк устья ту самую жердь, а Кузьма подбил её клином к стойке.

Выбирались по одному, в том же порядке: Петелин, за ним Дроздов, потом мы. Петелин полз на локтях, Дроздов подталкивал его сапог. В нише Анисимов взял его под мышки и развернул за угол — сперва подставил локти и только потом свои новые ладони. Дальше ход шёл прямо, и в конце его стоял фонарь.

На площадке Петелина подхватили Зуев с Шубиным и положили на носилки. Он попробовал сесть.

— Лежи, Влас, — сказал Дроздов.

Я вылез следом за Платоновым и разогнуться не смог. Так и стоял у стенки, согнувшись, держась левой за мешки, и спина отходила медленно, по одному позвонку. От людей на площадке пахло кислым потом и мокрым сукном. Теснов зевал так, что щёлкала челюсть.

Платонов развёл всех, пока я выпрямлялся. Зуев с Шубиным — к ручкам, Теснов с Моховым — сменять в дороге. Сафонову с Арефьевым — за носилками, Дроздову — рядом. Стрелков принял у Белова мешок и остался у стенки, при выдаче. Носилки качнулись и ушли в закрытый подход. Мы с Платоновым пошли следом.

У Кленова в передней двери горел свет. На крыльце стоял Егор, рядом — Кленов в фартуке, с засученными рукавами.

— Сюда его, — сказал Кленов. — Ваше благородие, что с ним?

— Петелин, сапёр соседней смены. Колено. Повредил, когда обвалилось начало рукава, — так говорит его старший. Сам я не видел. Полз сам, с поддержкой, на колено не опирается.

— Когда?

— Вечером, как легло, — сказал Дроздов. — Сапог не снимали. Опухло под ним, Влас говорит, давит.

— И не снимайте. Разрежу.

Петелина внесли. Кленов распорол голенище и положил на колено свои большие ладони. Петелин зашипел сквозь зубы.

— Кость целая, — погодя сказал Кленов. — Ушиб, и крепкий. Ходить не скоро. Пусть лежит, посмотрю ещё, как спадёт опухоль. — Он обернулся ко мне. — А вы опять ползали, Павел Андреевич?

— На левом локте.

— На левом, — повторил Кленов и вернулся к столу.

Дроздов вышел на крыльцо к своим. Сафонов уже достал из-за пазухи жестяную коробочку и вдевал нитку, шурясь на свет из двери; ободранный рукав висел у него лоскутом. Арефьев сидел ближе всех к двери.

— Обождём тут, ваше благородие, пока Власа не уложат, — сказал Дроздов.

Он расстегнул чехол на поясе, вынул ложку, подержал в руке и убрал обратно.

Утро семнадцатого вышло мокрым, с моросью. Во двор мы вернулись, когда совсем рассветло. Разогнулся я по дороге, но не до конца. Под навесом ждал Меркушев, прикрывая рукавом раскрытую записную книжку. Кузьма вернулся с площадки раньше нас и сидел тут же, на своём ящике.

— Вывели?

— Все четверо, господин поручик. Петелин у Кленова. Остальные при своём старшем.

— Рукав?

— Закрыт. Начало легло, его не трогали. Вывели поперечиной: Ведерников открыл её на один выход. После закрыли жердью.

Меркушев записал. Кузьма поднялся с ящика.

— Что ещё?

— Назначить надо. Дерево, отложенное под поперечину, ушло всё, выписывать заново. И завал в начале рукава: если рукав понадобится, разбирать его отдельной работой, днём, а не ночью наспех.

— Рукав не понадобится. Пусть стоит закрытый. Дерево выпишу. — Меркушев закрыл книжку, подержал в руке и раскрыл опять. — Следующую смену поведёте сами, Лунёв. Свою. Работу назначу я, людей ставите вы, за способ отвечаете вы.

Платонов до сих пор стоял молча. Тут он шагнул вперёд.

— Ваше благородие, дозвоьте. Люди с вечера на ногах. Ведерников с Беловым ночь пролежали у поперечины, наружные ночь простояли у носилок, потом несли. Дать им новое сейчас — завтра у меня никого не будет.

— Я не говорю — сейчас. — Меркушев повернулся ко мне. — Лунёв, скажите вы. Работа толковая, люди у вас годные. К вечеру можно бы...

— Смену беру, господин поручик. Начнётся она, когда кончится эта. А эта кончится, когда люди выспятся. Раньше не начну.

— И когда же они выспятся?

— Доложу сам.

Меркушев перевёл взгляд с меня на Платонова, потом на Кузьму и сунул книжку за пазуху.

— Работу пришлю запиской. До записки ваших не трогаю. Ведерникова отметьте.

— Отмечу.

Он ушёл к калитке.

— Платонов. Всех спать. Мокрое — к печке, сапоги снять. Проснётся кто — накормить.

— Слушаю, ваше благородие.

Он пошёл к отсеку и с порога повторил приказ слово в слово, ничего не прибавив.

Кузьма поставил ящик под навес, на его место, откинул крышку и стал укладывать инструмент. Пилу обтёр рукавом от глины. Долото положил, взял опять и обтёр ещё раз. Потом сел рядом на чурбак, с молотком в руке, и больше не шевелился. Я подошёл. Он спал.

Молоток я вынул у него из пальцев и положил в ящик, к остальному.

У себя я сел на койку. Стол был занят узлами, вдоль стены стояли сапоги на смену, угол у перегородки остался сухим. Лечь удалось не сразу: спина не пускала ни так, ни этак. Я лёг на левый бок, как ложился все эти ночи. За перегородкой уже храпели.

В дверь постучали. На пороге стоял Егор, мокрый до колен.

— Ваше благородие, можно? От Осипа Дмитриевича: Петелина уложили, Дроздов своих увёл. — Он перевёл дух. — И у входа сменный старший спрашивал. Они после обеда вниз, просят фонарь и человека, как всегда.

У фонаря, как всегда, сидел Анисимов, а Анисимов всю ночь просидел в нише и спал теперь за перегородкой.

Глава 6

Инструмент вернулся от входа утром девятнадцатого, мокрый, в глине и не в том порядке, в каком уходил. Кузьма вывалил его на общий стол под навесом и разбирал по одной вещи: обтирал ветошью, смотрел вдоль лезвия на свет и клал либо к себе, либо направо, к стенке. Направо шло то, что надо было точить или насаживать заново. Правая кучка росла быстрее.

Двое суток после поперечины мы держали вход сами. Сменные просили фонарь и чело- века, как всегда, и Платонов ставил людей по очереди. Очередь обходила отсек быстрее, чем люди успевали уснуть. Меркушеву я обещал доложить, когда мои выспятся, и докладывать до сих пор было нечего. Сам Платонов простоял у входа ночь и вернулся только что. Он сел на чурбак у пристройки, стянул одну рукавицу и так и остался сидеть с ней в кулаке. С рыжей бороды у него капало.

Меркушев вошёл в калитку, когда я решал, будить ли Анисимова или идти к фонарю самому. Из дверей отсека как раз высунулся Теснов с портянками в руке, увидел поручика и убрался обратно. Меркушев шёл прямо к навесу и на ходу доставал книжку.

— Как у входа?

— Сменные ночь отработали, вышли все, ваше благородие. — Платонов поднялся. — Инструмент сдан, вон он, у Ведерникова.

— Хорошо. — Меркушев раскрыл книжку и прикрыл страницу рукавом от мороси. — Землю, что вы в ту ночь ссыпали у развилки, надо вынести. Ход до развилки подчистить. Смен- ных принимать, как принимали. Участок ваши знают. Сколько у вас на ногах, Лунёв?

Слово «все» было у меня наготове. Двадцать лет я так отвечал начальству и ни разу не проверил, что будет, если ответить иначе.

— Сначала участок, господин поручик. Позвольте книжку.

Меркушев помедлил, потом протянул её вместе с карандашом, придерживая пальцем край листа. Правой я писать ещё не мог. Левой провёл кривую линию от входа до развилки и у первого поворота нарисовал крюк. От ниши — два коротких обрубка, сухой рукав и ближний, на каждом крест. Поперечину — тоже обрубком, с крестом и чертой поперёк устья.

— Годное — вот, — сказал я. — Площадка, вход, ход до ниши и от ниши до развилки. Земля лежит у развилки под стенкой. Это можно давать. Сухой рукав заложен жердями, им не ходят. Ближний закрыт: начало легло в двух шагах от устья. Поперечина пропустила людей один раз и стоит под жердью. Туда никого и ни за чем.

— Я знаю, что закрыт.

— Вы знаете. — Я повернул к нему книжку. Строчкой выше его рукой было записано: «Участокъ отъ нижн. входа до развилки, съ рукавами». — А тот, кто примет участок, прочтёт вот это.

Меркушев перечёл свою строчку, потом мои кресты и промолчал.

— Ваше благородие. — Платонов так и стоял с рукавицей в кулаке. — Вы господину поручику говорили: смена начнётся, когда люди выспятся. Не выпались. Землю от развилки вынести — кто понесёт? Кто сменит?

Он стерпел бы. Скажи я ему, что без него вход пропадёт, что надо потерпеть ещё денёк, — он стерпел бы денёк, а за ним второй. На шахте за такие слова брали лишнюю смену, и я сам не раз так её покупал.

— Господин поручик, на текущую работу нужен другой наряд.

— Другой наряд участка не знает.

— Сегодня узнает. Платонов сдаст ему с рук: вход, фонарь, порядок со сменными. Что закрыто — у вас нарисовано. Задача у них одна: принимать сменных и вынести землю от раз- вилки. Мои понадобятся вам на вашу записку. Пусть выйдут на неё выпавшимися.

— А отвечать за участок кто будет? — Меркушев постучал карандашом по книжке. — Сдавали мне его вы. Ваши там каждую стойку знают.

— За годное — их старший и вы. Закрытое держать не надо, его надо не трогать. Для того и кресты.

— Кто у них старший, ваше благородие? — спросил Платонов. — Мне ему сдавать.

— У входа узнаете. — Меркушев опять уткнулся в мои кресты. — Годные у вас люди, Лунёв.

— Годные. На одну работу за раз.

Меркушев зачеркнул в своей строчке «съ рукавами». Под моим рисунком он написал что-то короткое и подчеркнул.

— Наряд дам. Через час будет у входа. Землю от развилки — им, приём сменных — им. Платонов, сдадите участок вот по этому.

— Слушаю, ваше благородие.

— Вашу работу, Лунёв, пришлю, как условились. Доложите, что выпались.

— Доложу. До вашей записки мои свободны, господин поручик. Ни на какую работу, ни на свою, ни на чужую. Кто придёт просить человека — пусть идёт к вам.

Меркушев поднял глаза от книжки.

— Ко мне?

— Наряд ставили вы.

Он подумал и дописал ещё строчку. Я прочёл её вверх ногами: «Нар. Лунёва до записки не трогать. Просьбы — ко мнѣ». Книжка ушла за пазуху.

— Ко мне.

Он ушёл, стукнув калиткой. Кузьма положил направо последнее долото и обернулся.

— Ваше благородие. Обрезки в углу, от укрытия, — их ведь на растопку?

— На растопку.

— Мне бы их. Под шашки. — Он подумал. — Только чтоб потом в печку не покидали, пока сохнут.

— Бери. Из служебного — ни щепки.

— Само собой.

Теснов снова вышел из отсека, уже без портянок. Постоял посреди двора, потянулся так, что хрустнуло, и ушёл обратно спать.

Платонов ушёл к входу. Вернулся он часа через два, мокрый до колен.

— Сдал, ваше благородие. Старший у них из бывалых, землю уже таскают. Лист Егоров я ему у входа показал, кресты растолковал.

Он постоял, будто ждал, что я добавлю. Я не добавил. Тогда он пошёл к отсеку. С порога мне было видно, как он сел на своё место у стены и стянул один сапог. За второй он так и не взялся.

Пока он спал, я сходил к Кленову. Овчинникову я в первое утро обещал узнать, куда его, и за шесть дней так и не узнал.

Тыловая улица была пустая, только у забора возчик поил лошадь из ведра и ругал её за то, что пьёт. Кленов вышел на крыльцо в фартуке, вытирая о него большие ладони. Из кармана фартука торчал матерчатый чехол с иглами. Седины на висках у него будто прибавилось, а под глазами набрякли мешки, которых в ту ночь я не заметил.

— Жив Овчинников, — сказал он раньше, чем я спросил. — Лежит у доктора, в доме дальше по этой улице. Лечат.

— К нему можно?

— Через моих, когда понесут туда. Не всем двором, ваше благородие.

— Передайте ему: свои спрашивали.

— Передам. — Он взялся за косяк и сразу отнял руку. — А Петелина кому сдавать, когда встанет? Вам?

— Дроздову. Он соседский, не мой.

— Дроздову, — повторил Кленов, будто записал. — А вы спите, Павел Андреевич?

— Сегодня собираюсь.

— Собирайтесь, — сказал Кленов и ушёл в дом.

Во двор я вернулся к обеду. Из отсека пахло кашей с салом. Платонов уже стоял на пороге с полной миской, помятый со сна, с красной полосой от рукава через всю щёку.

— Овчинников жив, — сказал я. — Лежит у доктора, лечат.

Платонов перекрестился, не выпуская миски.

— Ну и слава богу. — Он подул на кашу. — Кисет-то при нём?

— Не спросил.

— В другой раз спросите.

Он сошёл с порога и направился к навесу. Стол стоял пустой. Инструмент Кузьма убрал в ящик, доски выскоблил и вытер насухо, а на угол положил свою линейку. Сам он сидел рядом на чурбаке и ел, держа миску на коленях.

— Занято, Арсений Фомич.

— Чем занято? Линейкой?

— Шашками. После обеда. — Кузьма подумал и прибавил: — И чтоб на нём не ели.

— Это стол.

— Это верстак, пока я пилю. Сало в дерево уйдёт, потом уголь пятнами ляжет. Мне клетки чернить.

— Каша стынет, — сказал Платонов. — Кашу едят, пока она каша. Остынет — это уже замазка. А шашкам твоим стынуть некуда.

— Им сохнуть.

Платонов стоял с миской над чистым столом и не садился. Кузьма сидел у стола и не двигался. Над миской поднимался пар и таял под навесом.

Я взял свою миску, отошёл к пристройке и сел на чурбак. У стены там стоял пустой ящик из-под гвоздей, крепкий, с выжженным клеймом на боку. Я поставил миску на него и стал есть.

Платонов постоял ещё. Потом выкатил из-под навеса второй чурбак, подкатил к ящику и сел. Миску поставил рядом с моей.

Кузьма снял линейку с угла и положил её посередине стола.

Ели молча, пока не съели половину. Каша была горячая, сало стекало к нижнему краю миски.

— На столе миска ездит, — сказал Платонов.

— Стол ровный, — отозвался из-под навеса Кузьма. — Я его сам ровнял.

— Для шашек ровный. Для каши — нет.

— А для каши какой нужен? — спросил я.

Платонов зачерпнул с края, где остыло, и показал ложкой на ящик.

Я доел с того же края.

Наши выходили из отсека по одному, с мисками. Белов ел стоя, привалившись плечом к столбу навеса, и засыпал между ложками. Мохов сел на порог спиной ко всем, а доев, вынул из-за пазухи свои дощечки, перевязанные бечёвкой, подержал и при мне развязывать не стал. Анисимов пристроился у края Кузьминога стола, не касаясь его, и держал миску на новых розовых ладонях.

После обеда Кузьма разобрал угол под навесом. Всё, что годилось в крепь, он оттащил к рогоже и прикрыл ею, а сверху положил свой топор. Себе оставил кучку обрезков от укрытия, кривых, сучковатых, годных разве что в печь, и перенёс их на стол.

Я хотел пройти мимо и остановился.

Кузьма выбрал обрезок доски, гладкий с одной стороны, и провёл по нему ладонью. Взял рубанок. Стружка шла тонкая, завитком, и пахла смолой сильнее, чем можно было ждать от обрезка. Он обстругал доску, приложил линейку и шилом наколот вдоль края первые точки.

— Доска будет складная, — сказал он, не поднимая головы. — На ремешке, вдвое. Петли кожаные, на медных гвоздиках, чтоб не ржавели. Углы скруглю, чтоб за пазухой не драло. Шашки внутрь, закрыл — и за пазуху. Белые как есть, чёрные закоптить над свечкой. Чтоб в перерыв достал — и играй, хоть в рукаве.

— В рукаве?

— Где перерыв, там и играй.

Он выбрал из кучи кусок жерди, тонкий конец, приложил к пальцам и отложил: толстоват. Взял другой, прижал коленом к краю стола и повёл пилу ровно, без нажима. Первый кругляш упал на стол чистый, без задира. Кузьма поднял его, посмотрел на срез, поскрёб ногтем и положил отдельно, на угол, где утром лежала линейка.

Смотреть на работу, за которую я не отвечал, оказалось отдельным удовольствием, и я его давно не пробовал. Хотя и тут меня тянуло. Такой рукой да клинья бы под крепь тесать. Или колышки. Я уже открыл рот, чтобы сказать про колышки, и закрыл его. На той стороне я и в отпуск возил с собой рулетку.

— А тебе-то они зачем, Кузьма?

Он покрутил второй кругляш в пальцах.

— Казённого у меня полный ящик. А своего — ложка да кисет. — Он поставил кругляш на ребро и катнул по столу. — И чтоб белыми ходил тот, кто делал.

— Белые ведь первыми ходят.

— А то, — сказал Кузьма и прижал к столу жердь для третьего.

Платонов доел, вытер ложку о колено и сунул за голенище. Он сидел на чурбаке и глядел на калитку. Я догадывался, о чём он думает: взяли ли сменщики фонарь и туда ли сыплют землю.

— Платонов, если от входа... — начал я и остановился.

Бригадир на моей первой шахте в ту пятницу повесил каску на гвоздь и ушёл домой в четыре. Я тогда думал, что уйти ему было легко.

— Ничего, Арсений Фомич. Каша была хорошая.

Он посидел ещё, потом поднялся и ушёл в отсек. На калитку он больше не оглянулся.

Егор сидел на пороге отсека, поджав ноги, с дощечкой на коленях. На дощечке была женщина в платке, надвинутом низко на лоб, с тем же лицом, что он показал мне три дня назад: широкие скулы, тяжёлые веки. Теперь карандаш у него ходил по платку, складка за складкой. Когда я проходил, Егор прикрыл лист ладонью, и левое ухо у него покраснело. Я прошёл мимо.

К калитке я сделал было шаг — глянуть, как там сменщики, — и повернул к пристройке. У себя снял сапоги и лёг на койку в сухом углу у перегородки, на левый бок. Последнее, что я слышал, — как Кузьма под навесом мелко, не по-казённому, ширкает пилой.

Проснулся я в сумерки, когда за перегородкой уже стучали ложками. Разогнулся я с первого раза и посидел на койке, не веря своей спине.

Во дворе было сыро и тихо. Из отсека тянуло дымом, кто-то там смеялся, коротко и сонно. На столе под навесом лежала Кузьмина тряпица, и под ней что-то бугрилось. Платонов стоял у пристройки, умытый, с расчёсанной бородой. От калитки шёл Меркушев.

— Как наряд, Лунёв?

— Не знаю, господин поручик. Не ходил.

Меркушев поднял брови.

— Я ходил. Землю выносят, сменных приняли. — Он раскрыл книжку. — Выспались?

— Выспались.

— Тогда слушайте. Внутри работа идёт за развилку, а ход к ней один. Вы Дроздова выводили: легло начало рукава — и четверо сидят, пока к ним не придут с другой стороны. Ляжет ход — с другой стороны не придёт никто. Мне нужен второй выход от развилки.

На той стороне участок без второго выхода просто не открыли бы.

— Новую галерею я вам за ночь не прорублю, господин поручик.

— За ночь я и не прошу.

— И за неделю не обещаю. Есть сухой рукав. Платонов говорит, его вели от ниши к развилке.

— Вот и хорошо. — Меркушев оживился. — Рукав готовый, вам его только открыть.

— Кто в нём был последним, господин поручик?

Меркушев подумал.

— Не знаю.

— Я тоже. Сначала осмотрю, что от него осталось: что цело, что держит, что надо исправить. Тогда скажу, что нужно.

— Платонов?

— Сухой он по имени, ваше благородие, — сказал Платонов. — У поворота, сразу за жердями, в нём всегда мокло.

— Осматривайте. — Меркушев писал. — Готовность — к двадцать девятому. Материал назначу отдельной выдачей: на покрытие выхода, где бы он ни вышел, и на работу в рукаве.

— И на ложе.

— Какое ложе?

— Низкое, чтобы лежащего тянуть по низу. Носилки в рукав не войдут, если он не выше хода. Петелина мы тянули за руки.

— Сани, что ли?

— Вроде того. Каким оно будет, скажет Ведерников. От вас — дерево.

Меркушев подумал и дописал.

— И на ложе. Сначала, после вашего осмотра, привезут на покрытие и небольшой запас. Что на рукав и на ложе — полежит на складском дворе, пока не скажете, что брать. — Он повернулся к Платонову. — Смена ваша — как сдадут сменщики. Осмотр в неё же.

— Слушаю, ваше благородие.

— Путь ваш, Лунёв. Готовите вы, отвечаете вы. Остальной участок держит наряд.

До двадцать девятого было десять дней. Последние из них уйдут на доделку, а в такие дни вечеров не бывает.

— Платонов. Двадцать седьмого, после дневной работы, вечер свободный. Без поручений. Своим передай.

Платонов помолчал.

— Двадцать седьмого, — повторил он и положил ладонь на шинель, на грудь, туда, где у него за пазухой лежало письмо.

Меркушев закрыл книжку и ушёл. Из отсека выглянул Егор, дожёвывая.

— Егор. В нашу смену осмотр сухого рукава. Прежний лист — к нему.

— С гвоздя сниму, ваше благородие. Утром сниму, вечером обратно повешу. — Он помедлил. — А вниз мне с вами?

— С нами.

Глава 7

Жерди в устье сухого рукава сидели туго. Их вогнали между стойками враспор, и от сырости дерево набухло. Кузьма подбил нижнюю обухом, раскачал и выдернул, верхнюю вынул уже рукой. Белов принял обе и поставил к стенке ниши, под копчёную доску. Из устья потянуло холодом и стоячей водой.

Двадцать первого с утра вход снова был наш. Сменщики сдали его на рассвете, Платонов остался у фонаря пропускать сменных, а мы вчетвером забрались к нише. Егор держал на коленях дощечку с двумя листами: сверху прежний, снятый утром с гвоздя, под ним чистый. На прежнем в правой стенке ниши стоял крест, и за крестом бумага была пустая. Меркушеву к двадцать девятому нужен был второй выход от развилки. Начинался он за этим крестом.

— Первым иду я, — сказал я. — Белов, фонарь.

Белов подал фонарь, подвинул к устью ящик с инструментом и сел возле него. Дальше устья он не тронулся.

Сразу за жердями рукав поворачивал, и пол в повороте уходил вниз. Там стояла вода, чёрная и неподвижная, в ладонь глубиной. По стенкам на ту же ладонь тянулась тёмная полоса: вода держалась здесь не первую неделю. Ползти пришлось по ней. Я лёг на левый локоть, рукав шинели намок до плеча, и холод пошёл вверх по руке.

Стойки в повороте были темнее прочих. Я ткнул ножом ближнюю у самого низа, и нож вошёл, как в сырой хлеб. У следующей рамы нижний конец стойки сгнил совсем, её отжало внутрь, и раму перекосило. Гнилые доски обшивки за ней разошлись, сквозь щели в воду наползла глина. Пролезть в повороте было можно, только боком и по самой воде.

Вода собирается в самом низком месте, и там же обычно кладут отвод. Я повёл пальцами под водой вдоль стенки и нащупал край доски. Под полом шла крытая канавка: две доски на ребро, третья поверху. В самом низу поворота верхняя доска переломилась, обломок съехал внутрь и встал поперёк, а вокруг него набился ил. Я запустил в ил пальцы. Он был плотный, будто утоптаный, и вода над ним не шевелилась.

Засор был под рукой. Вытащи обломок, разгреб ил — и вода уйдёт. Куда, я не знал. Канавка вела назад, под порог ниши. Об отводе Платонов ни разу не обмолвился, а кто был в рукаве последним, не знал и Меркушев. Ниже по ходу, сбоку, был ближний рукав, из которого мы выводили Дроздова. Если отвод когда-то вывели туда или в брошенную пустоту, вода уйдёт к соседям, под чужие рамы.

На шахте воду не открывали, пока своими глазами не видели, куда она сбросится. Правило было старое, и записали его после тех, кто не посмотрел.

Я выполз в нишу. Егор успел провести от ниши короткую линию и остановил её там, где кончался мой свет. Кузьма сидел на корточках у самого устья.

— Гнилое там, ваше благородие?

— Две рамы внизу. И отвод забит. Погоди, сперва посмотрю, куда он ведёт.

Порог ниши у правой стенки был из толстой доски.левой рукой я поддел её топором из ящика, Белов подхватил и отвалил. Под порогом шла та же канавка, сухая, с серым налётом ила по дну. На её досках темнела полоса: вода здесь когда-то бежала, и бежала к выходу.

Старым ходом я пополз назад и через каждые несколько рам поднимал доску у стенки. Белов полз следом и клал доски на место. Канавка шла под полом ровно, не сворачивая. У ближнего рукава я поднял две доски подряд. Мимо его устья она прошла, как мимо чужой двери: ни отвода вбок, ни щели. У входа канавка нырнула под порог рамы.

На площадке Анисимов у фонаря отмечал сменных, а Платонов пропускал внутрь двоих с пустыми корзинами. Вода с самой площадки, я помнил, стекала в правый угол, к укрытию. Отвод вели в другую сторону, под стенку из мешков. Я вышел через проход наружу. Вдоль

подхода тянулась канава с ледком по краям, и в её откосе, под мешками, торчал конец деревянного жёлоба, серый и разбухший. Под ним на дне лежал веер старого ила.

Выпуск был наружу, в канаву, где вода никому не мешала. Оставалось убедиться, что дорога от поворота до этого жёлоба одна.

— Белов. Назад, к нише. Зачерпни ведро в повороте и вылей в канавку под порогом. Разом.

Белов показал рукой вглубь хода, будто поворот был виден отсюда:

— За жердями? У края?

— У края. Дальше не лезь.

Он ушёл в ход. Платонов пропустил корзины и подошёл ко мне, не отходя от прохода дальше чем на шаг. Ждали мы долго. Сначала в жёлобе зашуршало. Потом из него поползла мутная вода, сперва ниткой, потом струей, и пошла по дну канавы поверх старого ила. Шла она ровно, без перебоев, пока я не перестал сомневаться.

— Сухой рукав, — сказал Платонов. — А течёт из него.

В нишу я вернулся мокрый по пояс.

— Кузьма. Расчищаем этот отвод, в повороте. Нового не роём: вода уйдёт в канаву у входа, я видел. Потом дерево в двух рамах.

— Проходимым-то куда делать, ваше благородие? До поворота или весь рукав?

— От ниши за поворот, до целых рам. Чтоб человек прошёл с киркой и ничего не задел.

— А дальше?

— Дальше я ещё не был. Весь выход — не сегодня, Кузьма. Сегодня — этот кусок.

Кузьма почесал тяжёлую челюсть и заглянул в устье.

— Тогда так. В двух рамах стойки новые, на подкладках, чтоб в грязь не ушли. Обшивку внизу перебрать, где сгнила. Дерево у меня во дворе под рогожей, с укрытия осталось годное, Белову скажу какое. — Он помолчал. — Только сперва воду уберите. В воду я стойку не поставлю. Мне видеть надо, на что она встаёт.

— Уберём.

Подавать дерево предстояло через нишу, а через нишу ходили сменные. Наружу я вылез второй раз за утро, вслед за Беловым, которого Кузьма отправил во двор.

— Платонов. У сменных какой порядок?

— С корзинами, ваше благородие. У развилки набьют — несут, пустые назад. Ну и за инструментом ходят.

— Пока корзины идут, у ниши наших нет и в ходу ни доски. Пронесли пустые к развилке — пока там набивают новые, ниша наша, подаём. Кто полезет не в очередь, хоть за инструментом, хоть так, — держи здесь.

Платонов поглядел в ход, будто считал корзины.

— Удержать удержу. Только у развилки старший своё время держит. Ему не скажешь, когда набивать.

— И не надо. Пусть набивают в своё время. Мы подстроимся.

— Тогда Анисимову скажу: кто внутрь без корзины — ко мне. — Он подумал. — А Белов ваш с деревом — тоже через меня, ваше благородие. Чтоб в одну сторону.

— Через тебя.

Первое окно вышло скоро. Мимо ниши прошуршали к развилке сменные с пустыми корзинами, и в ходу стихло. Следом Платонов пустил одного Белова. Дерево он волок за собой по полу связкой, на верёвке.

Дерево шло тяжело. Порог ниши стоял выше пола рукава, устье было узкое, и доска пролезала в него только концом вперёд и наискось. Белов толкал из ниши лёжа, Кузьма принимал за порогом и тянул на себя. Всё дерево я велел подать за одно окно и сложить за поворотом,

где пол поднимался и было сухо. Тогда корзины Кузьме не мешали бы: он работал бы в рукаве, а ниша оставалась пустой.

— Сразу так сразу, — сказал Кузьма и разложил доски вдоль стенки по порядку, в каком они ему понадобятся.

Потом взялись за воду. Обломок я велел пока не трогать, а ил брать с краю, понемногу. Сначала узкая щель, пусть вода идёт тонко. Хлынет разом — потащит ил за собой и забьёт канавку ниже, под полом старого хода, где её не достанешь, не поднимая весь ход.

Белов снял шарф, сложил и сунул за пазуху. Потом лёг у края воды и запустил руки в ил по локоть. Выгребал горстями и клал в ведро. Кузьма держал фонарь. Я нацарапал ножом метку на стойке, по самой воде.

Сначала ничего не менялось. Потом у стенки чмокнуло, щепка на воде повернулась и поплыла к щели. Вода отошла от метки на палец.

— Не шире, — сказал я. — Пусть так идёт.

Метка выходила из воды медленно, на палец, потом на два. В канавке журчало ровно, без всхлипов, и журчание уходило под порог, к выходу, той самой дорогой, которую я утром прополз на локте. Когда из-под воды показался пол, Белов вытянул обломок доски, весь в чёрной слизи, разобрал щель на всю ширину канавки, и лужа ушла совсем.

Корзины до конца работы проходили мимо ниши дважды. Оба раза в нише было пусто, а Кузьма работал: дерево лежало у него под рукой. Под перекошенную раму он сперва подбил временную подпорку, потом тремя ударами обуха выбил гнилую стойку. На вычищенный пол лёг обрезок доски, на него новая стойка, над ней клин. Вторую раму он сменил так же. Гнилые доски обшивки выдирал руками, они ломались, как размокший сухарь, а на их место заводил новые, за стойки, одну к другой. Глину, напозшую сквозь щели, Белов выгребал в ведро и в окна выносил наружу.

Мне хотелось взять у Кузьмы топор. Он делал всё так, как сделал бы я, только быстрее, а руки у меня скучали. Правую я держал при себе, левой светил туда, куда он показывал подбородком.

Когда он отложил топор, я прополз поворот сам. Постучал по новым стойкам костяшками — дерево ответило плотно. Надавил на клинья — сидели. Подкладки легли на твёрдое, не на ил. Под ладонью хлюпало, стенки блестели. Сырым этот поворот останется, видно, навсегда, но лужи в нём больше не было, и рамы стояли прямо.

— Отсюда досюда, — сказал Кузьма и показал от порога ниши до последней новой стойки. — Это сдаю. Дальше не трогал и не смотрел.

— Принимаю.

Белов взял лопату с пустым ведром и прополз поворот туда и обратно. Ни за одну стойку не взялся, лопатой не чиркнул. У последней новой рамы он остановился и показал рукой вперёд, в темноту:

— Туда?

— Туда — со мной. Сперва Егор сходит к Платонову. Егор, скажешь: от ниши за поворот проходимо, только нашим и только в окно. Сменные ходят старым ходом, как ходили.

Егор повторил и уполз. Всё, что Белов принёс со двора, стояло теперь в двух рамах и за ними, на полу не валялось ни доски. Гниль Белов вынес к выходу. Егор вернулся в следующее окно, мокрый до колен.

— Платонов сказал: слушаю. И ещё сказал: в канаве бежит. Сам ходил смотреть.

За исправленным поворотом рукав шёл вверх, едва заметно, и с каждой рамой становилось суше. Вода сбегала к повороту со всей его длины, и тот, кто клал отвод, это знал. Полз я первым, за мной Белов с фонарём, за ним Кузьма и Егор. Крепь стояла старая, тёмная. Местами из щелей обшивки просыпалась мелкая земля и лежала на полу кучками. Кое-где стойки ото-

шли от верхняков, под них просились клинья. Кузьма трогал каждую, мимо которой полз, и молчал. Рукав был цел от ниши до развилки, только им никто не ходил.

На середине в стенке открылся подъём. Я посветил вверх: круто уходили рамы, и темнота наверху была серее здешней. Подъём я оставил на обратный путь.

В развилку мы вылезли с той стороны, откуда я её ещё не видел. Старый ход чернел теперь слева, оба слуховых — напротив. Устье рукава держала целая рама, пол у неё был сухой. Старым ходом от ниши сюда было ближе, и сменные его знали. Им он и оставался.

Слуховые я осмотрел с Беловым, оба до торцов: он полз за мной с фонарём. Старое за небольшим поворотом упиралось в доску поперёк, боковое — в доски внахлёст. Что за ними, никто из нас не видел, и трогать их я не стал.

Егор сидел у развилки, развернув дощечку боком: из рукава всё стояло иначе, чем на прежнем листе, и он сверял лист с тем, что видел.

К подъёму вернулись рукавом. Белов с Егором остались внизу, Кузьма полез за мной. Подъём шёл круто, рамы в нём стояли по уклону, пол был выбит уступами. Я лез на коленях, хватался левой за стойки, правую держал у груди. Наверху посветлело: сквозь щель у края покрытия сочился серый день.

Над устьем лежали два верхняка, на них настил. Оба почернели. Ближний треснул вдоль и провис, в трещине застряли комья земли. Доски настила над ним разошлись, у края светилась щель в два пальца. Я тронул верхняк снизу, и мне на лицо посыпалась земля.

Кузьма втиснулся рядом, плечом к стойке, и вдавил в верхняк ноготь большого пальца. Ноготь ушёл весь.

— Труха, — сказал он. — И тот, и этот.

— Что сделаешь?

— Новое положу. Два верхняка из бруса, по ним настил, доска к доске. Чтоб над головой было дерево, а не что от него осталось. — Он помолчал. — Только не отсюда.

— Откуда?

— Сверху. Снаружи землю с настила снять, настил разобрать, гнилые вынуть, тогда класть. Отсюда менять — я под ними и стою. Первый вынутый на меня ляжет, а с ним всё, что сверху.

Так менял бы и я.

— Пока ты наверху, внизу никого, — сказал я.

— Никого. И в подъём не лезть. Что сорвётся, всё сюда покатится.

— Из чего положишь? Под рогожей что осталось?

— Обрезки. Годное я сегодня в поворот поставил. — Кузьма упёрся ладонями в стенки устья, прикинул на глаз до края настила, достал из кармана бечёвку и завязал на ней два узла. — Верхняк должен лечь на всю ширину и ещё по краям в землю зайти. Доски длинные, чтоб на оба верхняка хватало. Из обрезков покрытие не сведёшь. Будет заплата.

— На покрытие поручик назначил.

— Вот это и надо. Брус на два верхняка, доски длинные. И запаса немного, на подкладки да клинья. Больше мне тут ничего не надо.

До двадцать девятого оставалось восемь дней. Меркушев спросит срок, и спросит сегодня.

— Сколько тебе на покрытие, если дерево будет завтра?

— Будет — посмотрю, какое будет. Тогда скажу.

— Поручик спросит сегодня.

— А я, ваше благородие, сегодня одну труху видел. — Кузьма постучал костяшками по верхняку, и сверху опять посыпалось. — Скажу вам день, а привезут сырое или с сучком поперёк — вы с меня этот день и спросите. Я лучше сперва дерево в руках подержу.

Сроки у меня просили всю прошлую жизнь. Цену сроку, названному до того, как привезли материал, я знал: обычно её платили люди на участке.

— Так и доложу: срок — когда посмотришь дерево.

— Так и доложите. — Кузьма сунул бечёвку за пазуху. — И нести его надо не сюда.

— Как не сюда?

— Не рукавом. Брус в устье у ниши не пролезет, а в подъём и подавно. Сверху работать, значит, и дерево сверху. Снаружи, к самому устью.

— Снаружи так снаружи.

— Донесём.

Я ещё раз посмотрел на щель у края. Подбить под верхняк стойку и пустить через устье смену можно было хоть сегодня. До первого, кто заденет её киркой.

— Устье закрыто, Кузьма. Пока не покроешь, через него ни одного человека.

— И я про то.

Внизу Егор сидел под подъёмом с дощечкой на коленях. На новом листе уже стояло всё, что было на прежнем: крюк и копчёная доска у ниши, крест на ближнем рукаве, поперечина с белым изломом, солнце над выходом. От ниши шёл сухой рукав, и поворот у жердей Егор загнул коротким коленом.

— Ваше благородие. — Он поднял голову. — А что на листе должно быть видно? Вы скажите, я так и сделаю. Подъём можно с рамами, я их запомнил, а можно...

— Кто идёт со смены, должен видеть: его дорога прежняя, старым ходом. Кто идёт с нами — где рукав выходит к нише и к развилке и где от него подъём. А наверху — что выхода пока нет.

Егор помолчал, глядя на лист, и стёр пальцем начатую у подъёма раму. Подъём он провёл от середины рукава простой линией, такой же, как сам рукав, а на конце поставил крест. От развилки влево легли два коротких обрубка, у каждого поперёк торца черта. Стрелки к выходу остались только на старом ходе.

К концу смены мы вылезли рукавом до ниши и старым ходом к выходу. Во дворе под навесом ждал Меркушев, с книжкой и карандашом наготове.

— Что рукав, Лунёв?

— Отвод расчищен, первый отрезок за нишей исправлен, люди проходят. Дальше до развилки осмотрено. Верхнее устье не готово, господин поручик: покрытие сгнило.

Егор протянул дощечку. Меркушев повернул её к свету и ткнул карандашом в крест на конце подъёма.

— Это что, Чуркин?

— Верхнее устье, ваше благородие. Подъём к нему вот, от середины рукава. Выхода там пока нет.

Меркушев поглядел ещё, отдал дощечку Егору, а не мне, и раскрыл книжку.

— Что нужно?

— Дерево на покрытие, из того, что вы назначили. Брус на два верхняка, длинные доски на настил, по мерке Ведерникова. И небольшой запас, на подкладки и клинья.

Кузьма достал бечёвку с узлами и подал. Меркушев подержал её, не понимая, потом понял, намотал на палец и вложил в книжку между листами.

— А что я получу за это дерево? Выход?

— Покрытие над верхним устьем. Выход — когда ещё и рукав перекрепим, а это из того, что на складе.

Меркушев писал долго.

— Первой доставкой — покрытие и запас. Получит Мохов по моей записке. Что на рукав и на ложе, лежит на складском дворе, как лежало. Людей не прибавлю, Лунёв. Носить будут ваши.

— Не прошу.

— Срок?

— Ведерников скажет, когда увидит дерево.

Меркушев поднял глаза на Кузьму, но спрашивать не стал и дописал строчку. Потом убрал книжку за пазуху и ушёл к калитке.

Платонов пришёл от входа с фонарём, полы шинели у него были в глине.

— Завтра так же, — сказал я ему. — Сменные — старым ходом. Рукав за нишей — наши, в окно.

— Слушаю, ваше благородие. А лист у входа какой вешать?

— Прежний, — сказал Егор. — Сменным по нему дорога та же. Новый я набело перерисую.

Платонов глянул на меня. Я промолчал, и он пошёл с фонарём к навесу.

Дерево на покрытие телега доведёт до каменной стены, а оттуда брус и длинные доски придётся нести на руках, налево, по подходу к верхнему устью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.